Морозов

С ОРУЖИЕМ
В РУКАХ
3

ИНСТИТУТ ЛЕНИНА
БИБЛИОТЕКА
ГЕ 160
М786

НИКОЛАЙ МОРОЗОВ

С ОРУЖИЕМ В РУКАХ

GE160
M786

ПОВЕСТИ МОЕЙ ЖИЗНИ

ТОМ • III

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1928

НИКОЛАЙ МОРОЗОВ

С ОРУЖИЕМ В РУКАХ

ПОВЕСТИ МОЕЙ ЖИЗНИ

ТОМ ТРЕТИЙ

ПРОБЛЕСКИ. „ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ". В АЛЕКСЕЕВСКОМ РАВЕЛИНЕ

1 экз.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1928 ЛЕНИНГРАД

К.

ГЕ160
М786

Библиотека
Института Ленина
при Ц. К. В. К. П. (б.)
66398

ОБЛОЖКА РАБОТЫ
Н. В. АЛЕКСЕЕВА

Тип. „Печатный Двор", Ленинград. Гатчинская, 26.

А.18. Гиз № 23154/л. Ленинградский Областлит № 9485. 9³/₄ л. Тираж 4000.

ПОВЕСТЬ СЕДЬМАЯ

ПРОБЛЕСКИ

Посвящается Ксане

*

УДИВИТЕЛЬНАЯ ДЕВУШКА И СТРАННАЯ ВСТРЕЧА.[1]

— Дома Николай Алексеевич? — спросил я высокую скромную и очень симпатичную молодую девушку, отворившую мне дверь квартиры в высоком доме «на Песках» против Николаевского госпиталя.

— Нет, он еще в банке, — ответила она.

— А его жена?

— Тоже ушла.

— Все равно! — сказал я ей. — Я остановлюсь у него!

И, положив свой чемодан, я снял пальто и шляпу и повесил их на вешалку.

— Вы тоже, повидимому, у него остановились? — спросил я девушку.

— Да.

— Которая комната тут посвободнее?

— Помещайтесь пока в столовой.

И она пошла к себе в комнату, указав мне на дверь, которую я уже знал как столовую по прежним посещениям.

Николай Алексеевич—это был великан с громким басовым голосом, служивший в Государственном банке. С ним я когда-то уехал за границу и некоторое время жил в Женеве. Фамилия его была Грибоедов. Не будучи сам писателем, он имел однако в литературных сферах большие знакомства. Не участвуя ни в хождении в народ, ни в каких-либо заговорах, но сочувствуя всему этому, он охотно давал у себя

---

[1] См. примечания 1 и 2.

приют всем, скрывающимся от политических преследований. Власти за ним следили, и раза два у него уже были обыски. Но, несмотря на это, мы, разыскиваемые, время от времени собирались и даже ночевали у него, как только он нам заявлял, что подозрительные люди перестали шнырять у его ворот.

— Кто бы такая могла быть незнакомая девушка? — спрашивал я себя, развалясь на диване и заложив себе за голову обе руки.

Я только-что возвратился из Саратова, куда скрылся непосредственно после процесса 193-х от полицейских аргусов, грозивших мне административной высылкой, для того чтобы принять участие в пропагандистской работе моих товарищей.

Мне так приятно было отдохнуть после утомительного путешествия из Москвы в Петербург в «некурящем» вагоне третьего класса, где я уступил свою скамью на ночь одной незнакомой девушке, опоздавшей на поезд, и потому оставшейся без удобного места.

В квартире все было тихо. Только стенные часы в высоком футляре чикали монотонно, а их медный большой, как полная луна, маятник, видимый сквозь стекло резного футляра, качался взад и вперед так медленно, медленно....

«Утомился и он, — подумал я, — своим длинным путешествием по времени, где каждый его взмах похож на шаг, так же, как и я утомился теперь длинной дорогой по пространству».

Мало-по-малу я задремал и заснул.

— А, и ты тут!—разбудил меня голос вошедшего Грибоедова, и в его тоне почувствовалось как будто разочарование, а не обычная приветливость.

— Что случилось? — спросил я его прямо.

Он оглянулся на дверь и, увидев, что она затворена, подсел к моему дивану и тихо сказал:

— Тебе лучше остановиться у кого-нибудь другого. У меня теперь скрывается Вера Засулич, и ее надо беречь, ты сам понимаешь.

Я так и вскочил с дивана, страшно обеспокоенный своей невольной неосторожностью.

— Эта высокая девушка, отворявшая мне дверь без тебя, — она?

— Да.

Мне показалось, как будто я совершил преступление, приехав сюда. Мне захотелось поскорее оправдаться перед ним.

— Я, конечно, никогда и не подумал бы притти к тебе, если б подозревал что-нибудь подобное. Но уверяю тебя, что за мной никто не следил с вокзала. Я несколько раз оглядывался на перекрестках, и решительно никто не ехал за мной, а то я проехал бы далее твоей квартиры к первому попавшемуся дому, сказал бы извозчику, что ошибся адресом, и велел бы вести меня к какому-нибудь из известных мне проходных дворов, чтоб скрыться через него, бросив свой чемодан в добычу шпионам.

— Знаю, что ты осторожен. Если хочешь, оставайся здесь, только не выходи из моей квартиры. А если выйдешь, то уж лучше не возвращайся, пока нам не удастся безопасно отправить ее за границу. Это к тому же скоро сделают.

— Неосторожно посадить ее к тебе, уже не раз обысканному! Неужели не нашли ей лучшего помещения?

— Нашли. Вскоре после того, как наши ее отбили на улице у жандармов, ее поместили у доктора Веймара. Он совершенно не заподозрен, владелец огромного дома на Невском и кроме того притом знаком лично с самой русской императрицей.

— Слышал. Она даже подарила ему свой портрет, украшенный бриллиантами, за совместную деятельность в

лазаретах в турецкую войну. Почему же Вера Засулич переехала от него к тебе?

— Она очень простых привычек, и говорили, что большие комнаты его дома и роскошь меблировки сильно стесняют ее. Она не в силах была там жить больше двух недель, несмотря на внимательность самого Веймара. А у меня она чувствует себя просто.

«Так вот она какая»! — подумал я и почувствовал к ней удвоенное благоговение.

— Значит, останешься у меня? — спросил Грибоедов.

— Нет! Я сейчас же уеду!

— Куда?

— К Обуховой! Она тут недалеко.

Обухова была медичка, жившая с тремя курсистками на общей квартире.

— А где Сергей? — уходя спросил я его о своем друге Кравчинском.

— Он теперь живет на Петербургской стороне. Только ты не ходи туда через мост!

— Почему?

— Сергей, возвращаясь к себе домой, всегда предварительно «очищается водою» и требует того же самого и от других.

Он, загадочно улыбаясь, взглянул на меня.

— Как, очищается водою? Не купается же он каждый раз в Неве?

— Нет! — уже совсем расхохотавшись, ответил Грибоедов. — Наискось от его улицы, находящейся на той стороне Невы, есть на нашем берегу пароходная пристань, и около нее всегда бывают лодочники, перевозящие желающих за десять копеек через реку. Ты понимаешь, что если за тобой незаметно следят, и ты сядешь в лодку, то шпиону ничего не остается сделать, как взять другую и ехать сзади. Ты его сейчас же и увидишь. Нева широка, а отставать ему

далеко от тебя нельзя, — уйдешь. Вот это Сергей и называет очищением водою.

— Как похоже на него! — воскликнул я смеясь. — Замечательно остроумно! Непременно очищусь и я.

Я взял свой чемоданчик и, не осмелившись зайти к Вере Засулич, чтоб попрощаться с нею и выразить ей мое благоговение, спустился на улицу.

Все курсистки у Обуховой встретили меня с восторгом. Они были в толпе, освободившей Веру Засулич, и были полны восторженными воспоминаниями.

— Вы не поверите, какое сильное впечатление производят раздающиеся выстрелы в возбужденной толпе на улице! Нам показалось, что началась революция!

— А как же вы освободили Веру Засулич?

— Мы бросились к карете, в которой ее везли, отворили дверцы, высадили Засулич, а жандармов принудили оставаться там. В этот же миг толпа замкнулась перед Засулич. Ее начали передавать все дальше и дальше от одного ряда к другому, и вот она затерялась совсем. Стало даже грустно, когда скопление народа, запрудившего всю улицу, начало вдруг рассеиваться, и улица постепенно опустела. Как жалко, что вас с нами не было!

Да, и мне, действительно, было жалко! Какой здесь контраст с тишиной, в которой живут теперь в Саратове мои друзья и Вера Фигнер! Мне очень захотелось крикнуть ей отсюда:

— Вернись, вернись скорее!

Переночевав на диване в столовой у Обуховых, я оставил у них свой чемодан и маленький карманный револьвер системы «бульдог», который подарил мне Армфельд при моем отъезде из Москвы. Я вышел на Литейный проспект, отправляясь к Кравчинскому, и дошел через Пантелеймонскую улицу и тогдашний «Цепной мост» почти до входа в Летний сад.

Стояла чудная почти летняя погода. Возвращающееся на север солнце нежно согревало окоченевшую в его отсутствие землю, и земля готовилась радостно ответить на его ласки миллионами зеленых листьев и благоухающих цветов. Я пошел на Неву по главной аллее сада, а в душе у меня словно звучала новая неведомая музыка.

Сам собой начал слагаться первый куплет еще неопределившегося по содержанию стихотворения:

Солнце зашло
В туче густой,
Черною мглой
Все занесло.

Зная, что скоро буду «очищаться водою», я весь отдался своим внутренним звукам и голосам и не обращал внимания ни на что окружающее. Я шел в фуражке министерства земледелия с кокардой. Ее мне только-что дал у Обуховых один молодой землемер в обмен на мою шляпу, говоря, что с чиновничьим головным убором мне будет безопаснее ходить по улицам.

Не глядя ни направо, ни налево, ни перед собой, я почти бежал, опустив голову, и вдруг сразмаху ударился ею во что-то мягкое.

Фуражка с кокардой слетела с моей головы на землю. Я быстро поднял ее, стараясь не выронить при наклоне своего большого револьвера, находившегося в открытой кобуре у пояса под пальто, и не показать кинжала, скрытого за жилетом.

Взглянув при этом вверх, я увидел перед собой очень высокого старого генерала с седоватыми усами и бакенбардами, смотрящего сверху вниз прямо на меня каким-то бесчувственно суровым и ничего, кроме суровости, не выражающим взглядом.

— Извините, пожалуйста! — сказал я ему, улыбаясь.

Он так же сурово, как и прежде, продолжал смотреть на меня сверху вниз. Ни одна черта его не сложилась в улыбку и не изменилась.

«Верно какой-нибудь очень важный, — пришло мне в голову. — Очевидно, он не считал совместным со своим достоинством своротить для меня в сторону, и потому я ударился головой прямо в его правое плечо. Что если он велит свести меня в полицию, а у меня в карманах найдут кинжал и револьвер?»

— Извините, пожалуйста! — повторил я снова, еще более весело улыбаясь.

Но он и теперь продолжал сурово смотреть на меня, не показывая ни малейшей склонности к разговору.

Что мне было предпринять? Приподняв свою уже надетую фуражку, я сделал ему еще раз приветливый поклон, и, не говоря более ни слова и нарочно не спеша, чтоб он не подумал, будто я струсил и бегу, я пошел далее своим путем, обдумывая изо всех сил, что мне делать, если он меня арестует?

Но раньше, чем я успел пройти каких-нибудь шага три, я вдруг увидел как из-за деревьев боковой аллеи, окаймлявшей с левой стороны главную, на которой я столкнулся с генералом, вышел черноусый жандармский офицер на середину дороги и медленно направился наперерез мне.

«Отстреливаться ли мне от него, — пришло мне в голову, — или сдаться и вновь попасть в тюрьму? — Нет лучше смерть, чем это!»

Мне показалось, как будто могила уже разверзается предо мною. Но неопределенное положение длилось лишь одну минуту.

— Ха-ха-а! — раздался вдруг за мною громкий суровый хохот генерала, и, вероятно, по сделанному его рукою знаку, которого, я, конечно, не видал сзади себя, жандармский офицер, как по команде, повернул налево и ушел

обратно в боковую аллею, из которой так неожиданно появился.

Я миновал его, идущего мерной, спокойной походкой, уже не обращая на меня внимания, шагах в полутораста сзади генерала, как бы конвоируя его сбоку. Я дошел до ворот Летнего сада на набережной Невы, повернул по ней в сторону и, сразу увеличив скорость своих шагов до крайней степени, на которую был способен, не придавая своей походке характера бега, перешел через один из горбатых мостиков на впадающих в Неву каналах, и здесь в первый раз оглянулся, как бы следя за проехавшей мимо меня встречной каретой.

Никто не шел за мной сзади.

«Кто же этот старый генерал, которого тайно сопровождает сбоку жандармский офицер? — думал я, несколько успокоившись. — Почему он так сурово смотрел на меня в то время, как все, с кем я сталкивался ранее его, таким же образом, замечтавшись на улицах, всегда от души смеялись вместе со мной, даже и тот господин в Москве, которого я гимназистом ударил лбом по лбу так сильно, что из наших носов тут же потекла кровь на тротуары... Уже не сам ли это царь? Он, говорят, прогуливается здесь часто».

Событие это на моем первом пути к Кравчинскому через Неву причинило мне на несколько десятков минут такую тревогу, что до сих пор осталось в памяти, и с этого момента я дал себе обещание никогда не составлять стихов на улицах, по крайней мере, пока меня разыскивает на них полиция.

Только после того, как я сел в лодочку и доехал до другого берега Невы без всякого постороннего сопровождения, я почувствовал, что, как Сергей, окончательно «очистился водою».

Вбежав в комнату Кравчинского, я бросился к нему в объятия и начал рассказывать о своих тамбовских и сара-

товских похождениях, о всем, что произошло в Москве и здесь за эти четыре дня после моего отъезда оттуда.

— А ты что делал и что собираешься делать? — спросил, наконец, я его.

— В прошлом делал мало интересного, — ответил он печально. — Не стоит и говорить. А теперь готовлюсь к серьезному делу.

— Какому?

— Ты ведь знаешь уже, что император отклонил ходатайство суда о замене каторги ссылкой твоим товарищам по процессу?

— Нет! В первый раз слышу!

— Да! — ответил он. — Это страшно поразило нас всех.

— Так что же ты думаешь делать?

— Мы уже выпустили прокламацию. Это министр юстиции граф Пален воспользовался освобождением Веры Засулич, чтобы настоять на применении к осужденным жестоких кар. Против него мы и хотим принять меры, а мои товарищи из здешнего кружка «троглодитов» хотят, кроме того, организовать временную боевую группу для того, чтоб освободить хоть одного из твоих по Большому процессу.

— По дороге в Сибирь?

— Нет! Их повезут в Чугуевскую или Александровскую центральные тюрьмы в Харьковской губернии.

— А можно будет и мне принять участие в их освобождении?

— Надо поговорить с остальными. Ты ведь знаком с троглодитами?

— Как же! Перед отъездом из Саратова я познакомился с Ольгой Натансон, с Адрианом Михайловым, с Баранниковым, с Оболешевым, а с Зунделевичем я знаком давно. Это он сплавлял меня за границу четыре года тому назад. Помнишь, меня еще переодели тогда еврейской девушкой?

— Да, помню!

— А из товарищей, выпущенных вместе со мной из заточения, кто-нибудь будет участвовать в освобождении?

— Все выпущенные с тобой разъехались по разным местам, и ни о ком нет ни слуху ни духу.

— А как же наше восстановленное «Большое общество пропаганды»?

— Осталось мертворожденным. Если ты хочешь не только мечтать о деле, но и делать что-нибудь, то примкни, как и я, к «троглодитам». Это удивительные люди! Они мало говорят, но зато много делают. И Лизогуб теперь у них, и все его средства в их распоряжении. А ты знаешь, что для того чтобы вести серьезные дела, мало иметь одних людей, но нужны также и средства.

— Но я не могу вступить ни в какое тайное общество до тех пор, пока меня не освободит то, к которому я уже присоединился.

— Но кто же тебя освободит, когда все члены рассеялись?

— А вдруг они снова соберутся, отдохнув? Нельзя ли сделать так, чтобы «троглодиты» приняли меня к участию в делах не как члена своего общества, а как постороннего помощника?

— Постараюсь устроить. Нужно тебе сказать, что я и сам еще не состою у них формально, но я обещал вступить после первого серьезного дела, которое совершу вместе с ними.

— Значит, переговори и обо мне и скажи, что мне теперь более всего хочется участвовать в освобождении кого-нибудь из моих товарищей по заключению.

Я был в полном восторге. Переночевал я эту ночь у Кравчинского на диване, потому что не в силах был с ним наговориться до самой поздней ночи. Так много всяких замыслов, интересных друг для друга, обнаружилось у нас.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ.

Темноголубая Нева волновалась под лазурным безоблачным небом. Сильный ветер с моря поднимал на ней большие крутые валы и срывал с их гребней брызги белой пены. Ярко сверкали солнечные блестки на склонах волн, и еще ярче горела золотая игла Петропавловской крепости. Прыгая на волнах в маленькой лодочке, я переезжал от Кравчинского с Петербургской стороны на другой берег недалеко от того места, где находится теперь Троицкий мост. Я «омывался водою» в полном смысле слова, так как брызги волн, ударявшихся о корму моего утлого челна, постоянно кропили меня.

Я долго смотрел на Петропавловский шпиц, на серые бастионы крепости и искал за ними выступа, за которым сидели теперь восемнадцать моих товарищей по процессу, которым император не захотел сделать смягчения, несмотря на ходатайство особого присутствия сената. Мне страшно тяжело было представить в этом море солнечных лучей их полутемные камеры, их тусклое прозябание уже четвертый и пятый год, вдали от жизни и свободы, под ежеминутным не прекращающимся, ненавистным надзором врагов.

Я приехал к Обуховым и в первый раз употребил при этом придуманный мною конспиративный прием. Номер их квартиры был четырнадцатый, а напротив их в, пятнадцатом, жил, как я видел на двери вчера, ходатай по частным делам Петров.

— Дома Петров? — спросил я дворника у ворот.

— Кажется, не выходил! — ответил он.

Я побежал вверх по лестнице, но вошел, конечно, не к Петрову, а в квартиру Обуховых.

Я был очень доволен своим способом мистифицировать привратников, а с ними и тех, кто будет у них справляться обо мне, если меня заметят.

«Буду так поступать всегда, — думал я, — на лестницах обыкновенно никогда никого не встречаешь, и потому никто никогда не узнает, что я хожу не туда, куда предполагает дворник. Теперь, если за Обуховыми следят и спросят его обо мне, то он скажет, что я хожу к Петрову».

И моя предосторожность с первого же раза оказалась ненапрасной. На лестнице все было тихо. Подойдя к квартире Обуховых, я приложил ухо к щелке входной двери и начал прислушиваться. Там раздавались только женские голоса.

«Значит они дома, и нет засады!» — подумал я, нажимая потихоньку ручку двери, чтоб войти тихонько, если дверь не заперта. Но она не поддавалась, я позвонил, и мне отворила сама Обухова.

— Здравствуйте! — воскликнула она смеясь. — А у нас всю ночь были гости! Посмотрите-ка!

Я вошел в столовую, где ночевал позавчера и должен был ночевать в эту ночь, если бы меня не удержал Кравчинский. Квартира вся была перевернута вверх дном. Ящики комодов вынуты и стояли на полу, как попало. Белье выворочено из них и лежало грудами рядом со стульями. Все столы, шкафы и кровати были выдвинуты на середину комнат.

— Как хорошо, что вы не пришли ночевать сюда вчера вечером! Иначе только бы мы вас и видели!

Я засмеялся, не зная отчего. Мне вдруг стало очень, очень весело. Миновавшая опасность уже не имеет в себе ничего страшного. Напротив, чувствуешь какой-то душевный подъем, торжество, как будто бы сам себя избавил, а не простой слепой случай. Так было со мной и в этот раз. Однако, обстоятельства сейчас же показали, что я торжествовал слишком рано.

— Вот теперь ваша квартира хорошо очищена, — ска-

зал я. — Второй раз не придут скоро, и потому мне надо поселиться именно у вас.

— А вдруг за нами надзор? — сказала Обухова.

Она с беспокойством взглянула в окно на улицу и вдруг, обернувшись, таинственно подозвала меня к себе пальцем. Я посмотрел из-за ее плеча. С дворником нашего дома говорили, постоянно оглядываясь, два субъекта очень подозрительного вида. Скоро они отошли от него и встали поодаль на противоположной стороне улицы, время от времени посматривая на наши окна и подъезд.

— Вам нельзя теперь от нас выйти. Увяжутся или схватят при выходе! — испуганно сказала Обухова.

Сначала мне тоже стало не по себе, но затем я сообразил, что следят не за мною.

— За мной никто не шел, — сказал я, — а дворник наш думает, что я хожу к вашему визави, к частному поверенному Петрову. Это хотят следить за теми, кто к вам ходит, а за мной наверно никто не увяжется.

— Все равно! Надо сначала выйти двоим из нас и увести их за собою, а затем уже выйдете вы.

— Хорошо! — согласился я. — У вас, очевидно, ничего не нашли, так как никого не арестовали?

— Ничего! — сказала Обухова. — Только отобрали ваш револьвер, который я признала за свой. И чемодан ваш весь перерыли. «Откуда?» — спрашивают. — «Моего брата» — сказала я, и они его оставили в покое.

В это время все ее товарки, бросив уборку комнат, с беспокойством смотрели на улицу за подозрительными субъектами, но через несколько минут и они уже начали смеяться и придумывать способы, как бы их мистифицировать и одурачить, выйдя с таинственным видом ранее меня и приведя их затем в колбасную лавку или в какое-нибудь подобное благонамеренное место.

Время от времени мы посматривали на улицу. Наблю-

66398

Института Ленина при Ц. К. В. К. П. (б.)

датели за квартирой все еще не уходили. Чтоб утомить их ожиданием, я принялся помогать моим хозяйкам в восстановлении порядка в их квартире, передвигая на обычные места мебель.

Усталые, мы принялись пить чай, а после того две из самых молоденьких девушек побежали отвлекать от дома сыщиков. Глядя из окон, мы видели, как искусно они это сделали. Захватив с собою свертки своих тетрадок, они, оглядываясь с хорошо подделанным беспокойством, пошли быстро в разные стороны. Один субъект тотчас же пошел за одной из них, другой за другой, и улица оказалась очищенной. Я вышел вслед за ними без всяких приключений и направился к Оболешеву, давшему мне свой адрес у Кравчинского. Я застал у него почти всех «троглодитов», в том числе Михайлова и Квятковского, приехавших одновременно со мной из Саратова.

— Мы вас приняли в свое предприятие! — сказал мне, приветливо улыбаясь, Александр Михайлов. — В Харьков поедем я, вы, Адриан, Квятковский, Баранников, Ошанина, Перовская, да еще из Одессы мы пригласим Фроленко и Медведева.

— Зачем же так много? — заметил я.

— Как много? Прежде всего я и Перовская, которая поедет под видом моей жены, устроим конспиративную квартиру. В ней нам можно будет несколько недель скрываться в Харькове. А особенно будет нужна наша квартира тому, кого нам удастся освободить, так как, по всей вероятности, ему нельзя будет сразу уехать: ведь на всех дорогах будут для него устроены облавы! Затем, нам нужна и другая квартира, в которую мы перейдем, если первая окажется опасной. Ее устроят Баранников с Ошаниной, тоже под видом мужа и жены, так как, конечно, только семейные квартиры будут тогда не подозрительны. Затем нужна будет квартира, на которой можно хранить оружие

и все необходимое для освобождения. Из нее же выедут освободители. Это будет ваша квартира.

— Но мне бы хотелось не только содержать квартиру, но и участвовать в самом освобождении!

— Так и будет сделано! Мы решили устроить освобождение так. Двое наших верховых, — Квятковский и Медведев, — вооруженные военными револьверами, уедут вперед и встретят в степи между Харьковым и Чугуевым ту тройку, на которой жандармы повезут арестованного. Они тут же застрелят лошадей выстрелами в их головы... А вы тем временем в тарантасе, запряженном тройкой, поедете из Харькова, как случайные путники, сзади жандармов и, таким образом, их конвой очутится между двумя огнями и, может быть, сдастся вам без выстрела.

— А кто будет со мною в тарантасе?

— Адриан кучером, Баранников, переодетый армейским капитаном, в виде пассажира, рядом с ним вы, а на козлах, рядом с кучером, Фроленко.

— А куда же мы посадим освобожденного? Тарантас наш ведь будет полон!

— Прямо в кузов к своим ногам!

Способ мне понравился. Ничего лучшего, казалось мне, и придумать нельзя.

— Вам остается только, — продолжал Михайлов, — после перестрелки связать кучера и жандармов и, покинув их в степи, поспешно возвратиться в Харьков. Там вы бросите лошадей и тарантас на произвол судьбы — их все равно не успеете продать — и скроетесь вместе с освобожденным на приготовленных для вас безопасных квартирах.

— В таком случае, — воскликнул я в полном восторге от предстоящего романтического предприятия, — нам надо немедленно ехать! Я побегу сейчас и куплю в магазине генерального штаба хорошие карты окрестностей Харькова.

— Отлично! — сказал Михайлов. — Кроме того, нам надо запастись хорошим полевым биноклем и огнестрельным оружием. У вас есть револьвер?

— Есть.

Я показал ему.

— Хороший? — спросил он, мимолетно взглянув на моего Смит-Вессона, и, очевидно, плохо разбираясь в оружии.

— Конечно! Военный боевой револьвер.

— Надо еще приобрести пару, но только необходимо поручить знающему человеку, чтоб не купить дряни.

— Я знаю толк в огнестрельном оружии. Мне с детства приходилось обращаться с ним. У отца полная коллекция всех систем, и мы с ним почти каждый день стреляли в цель.

— Вот и хорошо! — сказал он. — Но мне обещал уже выбрать доктор Веймар. В его доме магазин «Центральное депо оружия» и ему как домовладельцу не дадут оттуда дряни.

— Может быть, вы оба вместе поедете к Веймару сейчас же? — сказал Квятковский Михайлову.

— Да, надо сейчас же! — согласился тот, посмотрев на свои часы, и мы с ним отправились.

Я еще ни разу не бывал у доктора Веймара. Я только знал, что у него три недели скрывалась Вера Засулич и затем сбежала к Грибоедову «от роскоши и парадности» его дома. Мне было очень интересно посмотреть, так ли это.

Перед нами на Невском показался большой красивый дом против нынешней улицы Гоголя, на бельэтаже которого находилась огромная вывеска «Центральное депо оружия». Миновав вход в этот магазин, мы позвонили выше его в дверь, на которой было написано «Ортопедическая лечебница д-ра Веймара». Лакей в ливрее встретил нас и направил в гостиную, которая действительно была меблирована богато, со вкусом и с очень хорошими картинами по стенам.

— Здравствуйте! — неожиданно послышался приятный голос за нашими спинами.

Мягкий ковер совершенно заглушил шаги вошедшего. Быстро повернувшись, я увидел перед собою замечательно красивого и изысканно одетого стройного человека лет двадцати семи, с белокурыми волосами и интеллигентным выражением лица. Михайлов представил ему меня.

— Я уже знаю вас, — сказал мне Веймар, — по вашему процессу. Мы часто говорили о вас с Грибоедовым, когда вы сидели.

— И я тоже давно знаю вас по его рассказам, когда мы жили за границей. Помните, как вы с ним и Глебом Успенским шли из ресторана по Невскому в виде трех Мушкетеров? Вы все были тогда заперты одним усердным городовым в темную комнату при его будке, но разрушили ее стену и ушли, пока он бегал докладывать о вас в участке.

Веймар от души засмеялся. Мне стало даже удивительно, почему Вера Засулич не могла у него долго жить! Он нисколько не важничал, и с ним чувствовалось совсем просто.

— Да, — сказал он. — Мы были тогда не совсем трезвы и по пути издевались над полицией. А вы, — обратился он к Михайлову, — верно, за обещанным вам оружием?

— Именно за ним!

— Сейчас я пошлю лакея в Депо и велю прислать с ним сюда самые новейшие заграничные образцы.

Лакей принес нам целую корзину револьверов. У меня, как былого любителя оружия, по воспоминаниям детства, разгорелись глаза при виде такого разнообразия. Один из револьверов — американский — особенно обратил мое внимание огромными стволами своего барабана. В них легко входил мой большой палец.

— Вот, — сказал я Михайлову, — настоящий для лошадей.

— Он не для лошадей, а для медведей! — заметил Веймар, еще не зная, для чего он нам нужен.

— Конечно, — ответил я, — за лошадьми ведь не охотятся! — Я хотел только сказать, что от такой пули свалится всякая лошадь, тогда как при обыкновенной пуле она пробежит еще верст десять, хотя бы прострелили ее насквозь.

Я осмотрел внутренние стенки стволов на свет, подведя под них бумажку. Они блестели и были безукоризненны.

— Значит, берем его? — спросил меня Михайлов.

— Обязательно!

И мы отложили в сторону этот револьвер, которому не раз пришлось участвовать в дальнейших революционных выступлениях того времени и даже в покушении Соловьева на жизнь императора. Затем мы отобрали еще два поменьше и, забрав свое оружие и соответственное количество патронов к нему, отправились в тир, где я сделал по нескольку выстрелов из каждого купленного револьвера. «Медвежатник» отдавал очень сильно, приходилось метить значительно ниже цели, чтоб попасть в нее, но его пули с такой силой ударялись о чугунную доску, что плавились на ней и, отчасти разбрызгиваясь, падали вниз свинцовыми лепешками, величиной с большие карманные часы.

— Действительно, — сказал Михайлов, — против таких пуль не устоит не только лошадь, но и американский бурый медведь.

Отправившись с оружием домой, он попросил меня, уже одного, зайти в оптический магазин, чтоб купить большой военно-полевой бинокль и затем приобрести в Генеральном штабе карты северо-западных окрестностей Харькова. Я сделал и то и другое на данную мне им сторублевую бумажку и, выходя из Генерального штаба, неожиданно встретился с Кравчинским.

— Пойдем, — сказал он мне, — в татерсал! Я там беру уроки верховой езды, так как действовать, по всей вероятности, мне придется на людных улицах и потому верхом.

— Пойдем! — ответил я.

В татерсале уже хорошо знали Кравчинского. Содержатель его, француз, еще издали встретил нас маханьем своей шляпы и потоками французских приветствий. Мы вошли вместе с ним на балюстраду, перед которой на усыпанной свежим песком арене десятка полтора офицеров описывали, как в цирке, красивые вензеля на хорошо обученных лошадях. Вывели лошадь для Кравчинского и из любезности вторую для меня и предложили попробовать. Я сел, и мы тоже начали выделывать восьмерки. Хозяин делал нам всевозможные замечания, указывая, как надо вытягивать свои спины и ноги, и на прощанье убедительно советовал мне подучиться у него правильной посадке хоть в десять уроков.

— Зачем тебе все эти фокусы? — спросил я Кравчинского, когда мы вышли на улицу. — Ведь нам не на парадах ездить!

Он несколько сконфузился. — Это правда, — ответил он. — Но видишь ли, я рассчитывал, что тут будут учить сразу скорой езде и быстрым неожиданным поворотам, однако в татерсале это оказалось невозможно. А он не хочет давать мне лошадей на выезд за город, пока я не пройду его предварительного курса. Придется окончить его, ничего не поделаешь!

— А знаешь, — сказал он вдруг поворачиваясь ко мне, — в этом самом татерсале содержится на пансионе и наш знаменитый рысак Варвар, на котором Веймар и Левашов освободили из заключения Кропоткина. Как-нибудь на днях мы прокатимся с тобой на нем в шарабане.

— На чье имя он здесь записан?

— Теперь я играю роль его хозяина, а роль моего кучера взял на себя Адриан Михайлов. Он замечательно ловко правит лошадьми.

Но мне не пришлось ни разу прокатиться на знаменитой революционной лошади. Дней через пять я уехал в Харьков вместе с Александром Михайловым. Мы с ним окончательно подружились и успели уже заключить брудершафт.

НЕУДАВШЕЕСЯ ОСВОБОЖДЕНИЕ.

В одном из самых глухих переулков Харькова, где росли вдоль заборов кусты бурьяна, и почти никогда не появлялся ни один прохожий, стоял одинокий домик, принадлежавший офицерской вдове. Его сени вели в переднюю, из которой открывались двери в две различные половины нижнего этажа. В одной из них жила она сама, приветливая женщина лет тридцати, а в кухне ее кухарка. Другая половина квартиры на зиму сдавалась студентам университета, а летом оставалась совершенно пустая. Весь этот домик как будто нарочно был устроен для таинственных дел.

Прежде всего переулок был тупик, но не настоящий. Его передний конец выходил на обыкновенную улицу, а другой опирался прямо в болотистую речку, всю заросшую камышом и ряской, через которую можно было вброд перебраться к глухим заборам противоположного берега, и, перепрыгнув через один из них, скрыться в находящихся за ними пустынных садах. Да и при самом домике был небольшой садик, через заборы которого, при некоторой ловкости, не трудно было перепрыгнуть в соседние огороды, где легко было скрыться от всяких преследований.

В то летнее время, о котором я говорю, в оставленной студентами квартире поселился у офицерской вдовы молодой землемер лет двадцати трех или четырех, искавший

себе службы в харьковском земстве. Он часто уходил неизвестно куда. Вдова видела его главным образом по утрам, когда он пил с нею вдвоем утренний чай в ее садике, среди роз. Она угощала его собственноручно приготовленным вареньем, рассказывала местные новости, заводила разговоры на всякие темы, а особенно на тему о любви, доказывая ему, что «вечно любить невозможно»! Землемер держался другого мнения. Он утверждал, что нельзя любить вечно в том случае, если любовь не привела к супружеским отношениям, а раз привела, то разлюбить друг друга возможно только по крайней сварливости характеров у супругов, но тогда, вместе с окончанием любви, они докажут свою негодность не только для всякой другой супружеской, но и вообще для общественной жизни.

— Им после этого ничего не остается, как навсегда поселиться поодиночке в пещерах! — говорил он с убеждением.

Когда землемер уходил затем к себе в комнату и запирался в ней на задвижку, он часто отпирал ключиком, вынутым из своего кармана, большой сундук, в котором находились очень странные вещи, совсем не подходящие для министерства земледелия и торговли. Там были два седла, две конские уздечки, два полных форменных костюма армейского и жандармского офицера, и, наконец, толстенная, тяжелая морская сабля. Было там и несколько других, совсем негодных для его занятия, вещей.

Вы конечно, уже догадались, что молодой землемер был не кто иной, как я сам, а все приборы в моем замкнутом сундуке назначались для освобождения товарищей, которых скоро должны были провести жандармы через Харьков, в центральную каторжную тюрьму. Эта моя квартира была, так сказать, штаб-квартирой организуемых действий, и выбрал ее я сам после долгих поисков из-за удобств ее положения. В нее приходили мои товарищи

для совещаний, и из нее же мы все должны были выехать, в бричке и верхом, в решительную минуту, для того, чтобы больше сюда не возвращаться. Ведь, и хозяйке и ее кухарке после совершившегося события будет совершенно ясно, что на него ехали из их дома.

— Нет еще известий, когда вывезут из Петербурга? — спрашивал я у пришедшего ко мне Михайлова, в первый же день после приискания себе этой прекрасной квартиры.

— Нет, но мне писали, что скоро. В тот самый момент, как их вывезут, нам протелеграфируют: «акции поднялись!» А число, насколько поднялись акции, будет означать день и час их выезда из Петербурга.

— А наши не пропустят там их выезда? Ведь, повезут тайно и неожиданно!

— Нет! Один из крепостных сторожей сейчас же сообщит об их увозе от него. Кроме того, наши все время дежурят на вокзале, и двое поедут с тем же самым поездом, чтоб телеграфировать нам и из Москвы, и из других городов, где у них могут быть остановки.

— А хороши ли купленные вчера лошади?

— Очень хороши! Небольшие, но сильные и быстрые!

— А бричка?

— Подержанная, но очень недурна. Вчера Фроленко, Адриан и Медведев, купив все разом, приехали в своем экипаже тройкой на постоялый двор под видом управляющего помещичьим именьем, его конторщика и кучера.

И он тихо засмеялся.

— А верховые лошади?

— Тоже куплены! да вот Фроленко с Адрианом уже едут за седлами к тебе.

Я выглянул в окно на улицу. Действительно мои товарищи въехали в переулок и останавливались у ворот моего дома. Из брички вылез Медведев и, войдя ко мне с

рогожным кулем, завязал в него седла, вынутые из моего сундука, и уехал обратно.

— Теперь мы начнем, — сказал мне Михайлов, — пробные разведки обеих дорог. Неизвестно еще, куда повезут. Надо хорошо узнать обе дороги. Где твои карты?

Я вынул из сундука карты Генерального штаба. Дорога в Чугуев и дорога в Змиев расходились между собой уже в самом городе. Мы начали изучать их. Они обе оказались почти прямые, и ошибиться в пути было невозможно.

Удовлетворенные полученными результатами, я и Михайлов пошли на его «конспиративную» квартиру, где должен был скрываться будущий освобожденный, а с ним и некоторые из нас. Она представляла хороший дом-особняк, нанятый Михайловым и меблированный сборной мебелью от его харьковских знакомых, — различных общественных деятелей. Хорошенькая горничная, приветливо улыбаясь, отворила нам дверь. Это была на самом деле курсистка Роза, местная жительница, игравшая роль горничной, как настоящая актриса. Хозяйкой была Перовская.

Я подошел по очереди ко всем окнам. Из них были видны три улицы на значительное расстояние. Подойти незаметно к квартире было трудно.

— Отправимся сейчас же в Основу! — сказала нам Перовская. — Там уже ждут нас Баранниковы, а также, может быть, придут и остальные. В лесу удобнее сходиться вместе под видом прогуливающихся.

Она накинула свое пальто и шляпу, и мы пошли втроем в знаменитый лес, где Шевченко сочинял свои украинские стихи.

На одной из его лужаек сидела с закусками почти вся остальная наша компания. Новостей пока не было никаких, и мы, лежа в траве под деревьями, наблюдали сквозь их ветви проблески голубого неба.

— Расскажите, — как вы теперь убежали от жандар-

мов? Я еще не знаю подробностей! — спросил Фроленко Перовскую.

— Да совсем просто! — ответила она. — Жандармы арестовали меня в Крыму, в именьи брата, и заявили, что по распоряжению из Петербурга, меня должны выслать в Архангельскую губернию. Мне страшно не хотелось, но, конечно, пришлось. Я взяла белья в свой чемодан и денег, но деньги тотчас же отобрали жандармы и повезли их сами. На третью ночь мы приехали на станцию Бологое, где нужно было пересаживаться на рыбинский поезд. Но он отходил только утром. Я легла спать на диване в дамской комнате, а жандармы сели у дверей. Мы были все утомлены дорогой, и они оба уснули. Вдруг слышу, подходит скорый поезд из Москвы в Петербург. Я встала с дивана, вижу, жандармы спят; отворила окно комнаты и вылезла через него на платформу, а затем вошла прямо в вагон третьего класса, где вся публика уже спала. У меня не было ни одной копейки денег, жандармы все отобрали и потому я сейчас же залезла под скамью и легла в глубине. Никто из спящих не обратил на меня внимания. Я очень трусила, что жандармы проснутся и не выпустят поезд без обыска. С замиранием сердца ждала я третьего звонка, и мне казалось, что мы стоим без конца на этой станции. Но вот поезд поехал, и через восемь часов я благополучно доехала до последней перед Петербургом станции. Там я сошла с поезда, думая, что на петербургском вокзале все жандармы предупреждены телеграммами, и кто-нибудь из знающих меня в лицо ожидает там моего приезда.

— А со станции вы пришли пешком в Петербург?

— Да, и страшно проголодалась! Не ела целый день. А усталости никакой не чувствовала, пока не пришла к знакомым.

— Зачем вы тогда поехали к брату в Крым? — заметил Михайлов. — Ведь вы были предупреждены, что вас,

как и его, — и он указал на меня, — после процесса решено было административно выслать в Архангельскую губернию?

— Да, но многие думали, что высылать будут только тех, кто останется в Петербурге, а тех, кто уедет на родину, оставят в покое. Потому, кроме него, никто из выпущенных и не скрылся, а разъехались по домам в провинцию.

— И всех их, как вас, сцапали на родине и повезли в тундры! Разве можно было думать, что Третье отделение успокоится оттого, что люди сами уехали? — укоризненно ответил лежавший на траве рядом с Александром Михайловым Адриан Михайлов, которому предназначалось быть кучером при предстоящей попытке освобождения.

Наступило молчание.

Палящий солнечный жар мало-по-малу начал уменьшаться.

Было совершенно тихо. Длинная полоса пыли потянулась вдали по дороге за проезжающей телегой, и, казалось, не хотела с нее сойти. Хорошо нам было сидеть на опушке леса и слушать друг друга.

Прошло несколько дней в ожидании. У нас все было давно готово, и экипаж и верховые. Дорога была обследована, и общий ее характер оказался не совсем благоприятным для наших целей. Широкая ровная степь без кусточка или холмика расстилалась на необозримое пространство. Ни одного значительного оврага, где можно было бы устроить засаду. Но, как бы то ни было, нам оставалось только ждать известия и выезжать. А жизнь кругом нас шла так спокойно, и сами мы, наконец, так привыкли к праздности, что мне начало казаться, будто никого никогда к нам не привезут.

И вдруг, как вспышка яркой зарницы в тихую летнюю ночь, пришла к нам условленная телеграмма.

— Вчера вечером они выехали из Петербурга! — прибежал ко мне рано утром возбужденный Александр Михайлов.

— Значит, сегодня будут уже в Москве, а после завтра утром у нас! — воскликнул я, мысленно сосчитав время.

— Да! — если не остановят на дороге. Везут четырех в арестантском вагоне. Кто бы это мог быть?

— Конечно, осужденные на долголетнюю каторгу Ковалик, Войнаральский, Мышкин, Рогачев!

— Да, — прибавил он, — я сам так думаю. Кого-то удастся нам отбить? Повезут их порознь, и всех освободить нам будет невозможно.

Он начал ходить из угла в угол, задумавшись.

— А знаешь! — сказал он мне. — Придется употребить в дело только форму армейского офицера, которую сделал себе Баранников. А жандармская так и останется у тебя в сундуке в добычу жандармам, когда они нагрянут в твою квартиру.

— Почему?

— Фроленко ни за что не хочет одеваться в жандармский мундир, говорит: стыдно!

Мы засмеялись.

Он посмотрел на свои часы и ушел. А я пошел пить чай к хозяйке.

«Выдаст или не выдаст?» — задавал я себе мысленный вопрос, смотря на нее, когда она, улыбаясь, наливала мне чай с вареньем и старалась снова завести флиртовый разговор. Мне не верилось, что она опишет мои приметы жандармам. Но кто ее знает? Я с ней ни разу не говорил о политике. Интересы дела не позволяли мне радикальничать здесь.

Длинными показались мне и моим друзьям эти последние два дня. Между нами всеми образовалось как бы беспроволочное телеграфное сообщение. Каждая новая телеграмма в каких-нибудь полчаса делалась известна нам всем, несмотря на разные места нашего жительства.

Наконец, вечером Александр Михайлов влетел бомбой в мою комнату.

— Сегодня в третьем часу ночи, — сказал он мне, — они приедут! Будь одет уже к двум часам утра.

— Буду!

— Надо выехать на дорогу заблаговременно! Не проспи!

— Как ты можешь это подумать! — воскликнул я с обидой.

Михайлов побежал к другим. Я лег в постель, положив перед собой коробку спичек, чтоб смотреть на часы время от времени и отдохнуть перед предстоящей бессонной ночью. Я действительно не надолго задремал, так как очень устал, благодаря сделанному мною в тот день исследованию всех дорог в окрестностях Харькова, причем я и Квятковский совершили большое путешествие верхами. Но уже в первом часу ночи я проснулся от какого-то врутреннего толчка, предупреждавшего меня, что я должен быть наготове к чему-то важному, и с этого момента не мог заснуть вплоть до рассвета, который в июне начинается в Харькове очень рано.

Я поднялся с постели и оделся, как только получил возможность видеть предметы за своим окном, и стал ожидать приезда за мною товарищей. Вскоре под окном показалась высокая несколько полная фигура Александра Михайлова в летнем светлом пальто и спортсменской шапочке.

Быстро вскочив с подоконника, я бросился к двери и впустил его.

— Ну что?

— Все готово. Опасаясь, что их (т. е. осужденных товарищей) могут высадить не на пассажирской, а на товарной станции, вдали от города и увести оттуда, Квятковский и Баранников отправились туда и залегли за насыпью в кустах, вооружившись на всякий случай боевыми револь-

верами. Пойдем пока ко мне, чтоб сейчас же узнать, что нам делать.

Я быстро накинул пальто, и мы вышли на улицу.

Шел сильный дождь. Грязь была невообразимая. Придя к Михайлову, мы прежде всего увидели там Перовскую и Розу.

— Еще никого нет! — шепнула нам последняя, и мы все вместе провели более получаса в томительном ожидании.

Наконец, после трех часов утра в ставень одного из наших закрытых окон раздались три условные удара. Роза побежала и открыла калитку. К нам вбежал Квятковский и отрывисто сказал:

— Приехали!

— Где они теперь? — спросила его Перовская.

— Мы видели, как поезд с арестантским вагоном, на площадке которого стояли жандармы, прошел мимо товарной станции к вокзалу. Мы бросились туда и видели, как двоих в сопровождении здешнего полицеймейстера и жандармов отправили в тюремный замок, а остальных двоих в контору вольнонаемных почт, очевидно, для немедленного отправления по назначению. Баранников, дежуривший у вокзала, уже убежал закладывать лошадей. Беги и ты к себе! — обратился Квятковский ко мне. — Они будут у тебя через несколько минут! А я сейчас же еду с Медведевым верхами на Змиевскую дорогу

— А вдруг их повезут по Чугуевской дороге? — заметила Перовская.

— Нет! — Чугуевская тюрьма наполнена исключительно уголовными, а в Змиевской есть еще несколько свободных камер для политических, — заметил Михайлов. — Наверно повезут туда.

Мы оба быстро вышли и почти прибежали в мою квартиру. Там никого не было, но не прошло и пяти минут ожиданья, как в переулке перед моими окнами показалась

бричка, запряженная тройкой лошадей. На ее козлах в кучерском костюме сидел Адриан Михайлов. Баранников в офицерском костюме находился на заднем месте, и рядом с ним сидел Фроленко в виде его денщика.

Я и Михайлов быстро вынесли в бричку чемодан с кинжалами и револьверами большого калибра и толстую морскую саблю, служащую обыкновенно для рубки канатов на кораблях, а в этом случае предназначавшуюся для быстрой перерезки постромок у пристяжных лошадей. Я сел на место Фроленко рядом с Баранниковым, а Фроленко как «денщик» перебрался на козлы, и мы быстро помчались на Чугуевскую дорогу, простившись с Михайловым, махавшим нам своим платком, пока мы не исчезли из виду.

Светало. Дождь не переставал. Широкая ровная дорога приняла какой-то грязный, бурый вид. Жирная черноземная почва, прилипая огромными комьями к колесам и копытам наших лошадей, страшно затрудняла путешествие. Наши одежды намокли, как губки.

Мы доехали почти до селения Рогани, находящегося в десяти верстах от Харькова, не встретив ничего особенного. Считая неудобным удаляться более от города, мы повернули назад и, свернув с большой дороги, остановились недалеко от нее на пригорке. Отсюда легко было обозревать всю окрестность.

Черной грязной лентой лежала перед нами дорога, исчезая в туманной от мелкого дождя дали. Волы, возы с флегматически идущими возле них хохлами длинными вереницами тянулись по всему ее пространству. Какая-то тройка, вероятно с семейством окрестного помещика, быстро проехала мимо нас, да рота солдат с ружьями на плечах медленно прошла к деревне. Но те, кого мы ждали, все не являлись.

Сильно обеспокоенные, мы послали, наконец, Квятковского обратно на разведки и стали снова ждать. Через

час он прискакал назад, махая красным платком — условный знак — быть настороже — и, подъехав ближе, сообщил, что в окне конторы вольнонаемных почт он видел Ковалика с двумя жандармами, ожидающими лошадей, чтобы вести его.

Переменив отсыревшие заряды в револьверах, мы снова выехали на дорогу, но она попрежнему не представляла ничего особенного.

Прошли новых два часа. Нам оставалось думать одно из двух: или — что шеф жандармов, ожидая, как нам было известно, попытки к освобождению осужденных, велел везти их окольными путями, или — что их просто повезли в Чугуевскую, а не в Змиевскую тюрьму. Порешив на этом, мы быстро повернули назад и, переодевшись по дороге в свои обыкновенные костюмы, возвратились в Харьков.

Там мы тотчас же узнали от товарищей, наблюдавших за тюремным замком и за конторой вольнонаемных почт, что уже увезли из города Мышкина, Ковалика и Рогачева, каждого с двумя вооруженными жандармами. Наблюдавшие были уверены, что они не миновали встречи с нами и были очень удивлены, что мы приехали одни.

Удостоверившись, что оставшегося в замке Войнаральского уже не повезут в этот день, так как в подобном случае пришлось бы совершить путешествие ночью, мы дождались следующего утра и привели в исполнение новый план действий, при котором жандармам не было никакой возможности проехать мимо нас незамеченными. Ранним утром мы поставили одного верхового в узеньком закоулке, недалеко от тюремного замка, откуда было видно все, что делается перед его воротами. Другого поместили около конторы вольнонаемных почт, а бричку — на небольшом проселке, на ровном расстоянии от Змиевской и Чугуевской дорог, выходящих из Харькова почти под прямым углом. С этого пункта, смотря по надобности, было легко

переехать на ту или другую дорогу прежде, чем жандармы успеют опередить нас.

Первый верховой — Квятковский, определив путь, по которому жандармы выедут из замка, должен был немедленно известить об этом находящихся в бричке. Затем, мы вместе, быстро выехав на соответствующую дорогу, должны были ехать по ней впереди жандармов, пока не встретим благоприятного места для освобождения. Но так как бричка при первом путешествии оказалась очень тесной для четырех человек, и освобожденному было бы почти некуда сесть, то в последний момент в ней отправились только трое: Баранников, одетый армейским офицером, да Фроленко и Адриан в обыкновенных костюмах, а меня было решено оставить вместе с Михайловым в Харькове, в резерве. Я был страшно огорчен этим решением, но не мог не согласиться, что оно правильно. Впятером в нашей бричке было совершенно невозможно ехать не только бешеным галопом, как предполагалось, но даже и рысью, особенно при необходимости отстреливаться в случае преследования.

Отправив в путь товарищей из моей сборной квартиры, я печально пошел с Михайловым к нему, и там вместе с Перовской и Розой мы стали час за часом ждать известий. Это было так томительно, что не раз мы порывались вскочить и бежать за город, на дорогу, посмотреть, что на ней делается. Мы напрягали свои глаза по всем трем улицам, лежащим перед нашими окнами, но там были лишь одни обычные прохожие.

Только после полудня мы увидели вдали спешащую к нам высокую и стройную фигуру, которая показалась нам знакомой.

— Баранников! — воскликнула Перовская. — И притом один! Неужели опять пропустили?

Но оказалось хуже. Весь взволнованный, Баранников вбежал к нам в комнату.

— Ну что? Ну что? — спрашивали его мы все вместе.

— Ничего не вышло! — ответил он. — Приехав на проселок, между двумя дорогами, мы остановились возле белой избушки с двумя столбами, куда должны были явиться наши верховые, и стали ждать. Прошло почти полтора часа. Наконец, прискакал Квятковский, крича еще издали: «на Змиевскую дорогу!» В то же время показалась около города тройка, быстро подвигавшаяся к Змиеву... Адриан сильно ударил по лошадям. Через несколько минут мы уже ехали впереди жандармов, заставляя их следовать за собою на небольшом расстоянии. Мы ожидали нашего второго верхового — Медведева, который был необходим для обеспечения полного успеха, так как перестрелять одним револьвером всех трех лошадей Квятковскому было почти невозможно. Но Медведев не являлся. Наконец, увидев за пригорком белую колокольню приближавшегося села и решив, что ехать так дальше невозможно, мы начали осаживать лошадей и остановились, свернув немного с дороги. Я и Фроленко быстро выскочили из брички. Выступив на дорогу, я крикнул: «Стой!» Ямщик осадил лошадей, но они сразбега пробежали еще некоторое пространство. «Куда едешь?» — спросил я по-военному жандарма, подойдя к кибитке. — «В Ново-Борисоглебск»! — ответил мне сидевший напротив Войнаральского унтер, делая под козырек, потому что я был в военной форме. В этот самый миг Фроленко выстрелил, но промахнулся.— «Что тут!.. Что это?» — крикнул в испуге сидевший по другую сторону от Войнаральского жандарм. Я выстрелил, и он упал на дно повозки, лицом вниз. Испуганные лошади жандармов дернули и помчались... Произошло смятение... Я вскочил вновь в нашу бричку, Адриан хлеснул кнутом по лошадям, и мы помчались в погоню, а Фроленко, не успев вскочить, побежал пешком... Он на бегу сделал еще два выстрела, но тоже безуспешно... Квятковский, находив-

шийся немного впереди, желая убить коренную лошадь жандармов, повернул назад, но его собственная лошадь, испугавшись выстрелов, заартачилась. Стрелять в упор при проезде мимо него жандармов ему не было никакой возможности... Справившись наконец с лошадью и догнав жандармов, он на всем скаку выпустил в их лошадей все шесть выстрелов своего револьвера. Большая часть их, судя по брызгам крови и судорожным движениям лошадей, попали... Но израненные лошади помчались еще быстрее мимо бежавших в сторону прохожих, мимо хохлов-косарей, оставивших работу и, опершись на косы, с удивлением смотревших на происходившее, — мимо какого-то солдата с ружьем на плече, который бросился в соседнюю рожь, где и исчез без следа, вместе со своим оружием. Расстояние между нами и жандармами все увеличивалось... Адриан напрягал последние усилия, чтобы догнать их, но его не особенно хорошие лошади, видимо, уступали в быстроте почтовым лошадям жандармов... Ожидая, что Войнаральский выскочит из кибитки, мы гнались почти до самого селения. Наконец, жандармы въехали на его улицу, и мы, убедившись в бесполезности дальнейшей погони, решили возвратиться в Харьков на постоялый двор. Сейчас оттуда придут и остальные.

И они действительно пришли, совершенно удрученные неудачей. Особенно печален и сконфужен был Медведев, явившийся последним из всех.

— Почему вы не попали на место? — спросил его Александр Михайлов, едва он явился.

— Я поскакал, — ответил он, — на условленный пункт, который был показан мне на карте окрестностей Харькова. Но я попал, повидимому, на другой проселок, находящийся несколько далее от города, и остановился у белой избушки с двумя столбами, приметы которой совершенно подходили к условной. Тут я и ждал более часа. Наконец, не видя около

нее никого и думая, что опоздал, я отправился далее. Проехав таким образом до самого селения, я внезапно услыхал позади себя выстрелы. Догадавшись, что опередил товарищей, я повернул лошадь и во весь опор поскакал назад. Проехав некоторое пространство, я увидел скакавшую мне навстречу тройку, в которой один жандарм целился в меня из револьвера, а другой лежал в кузове экипажа у ног Войнаральского. Я не напал на них, так как наша бричка, на которую мог бы пересесть Войнаральский, была уже далеко и быстро возвращалась в Харьков. Мне оставалось только пришпорить лошадь и ехать вслед за вами....

ВОЗВРАЩЕНИЕ.[1]

Александр Михайлов стал быстро ходить взад и вперед по комнате, что-то соображая.

Я грустно сидел за столом. «Какая неудача! Ничего не вышло, кроме раненых лошадей да раненого жандарма!» — думал я.

На душе было страшно больно и за Войнаральского, за которым теперь будут во все глаза смотреть его тюремщики, и за себя, и за раненого даром человека.

— Знаешь! — перебил мои размышления, круто повернувшийся ко мне, и, очевидно, что-то решивший Михайлов.— Жандармы с Войнаральским не возвратятся в Харьков, пока не отвезут его, но они дадут телеграмму о случившемся с ближайшей станции, до которой донесут их лошади.

— Конечно, но они не могут в телеграмме описать приметы нападавших, — ответил я.

— Так. Но здешнее жандармское управление может сейчас же навести справки по всем постоялым дворам, откуда могла бы выехать утром тройка с бричкой и двое верховых.

---

[1] См. примечание 3.

— И конечно, — согласился я, — легко найдут и расставят служителей этого постоялого двора на вокзале и при главных выездах из города, и никому из участвовавших нельзя будет выехать.

— Да, но жандармы, наверно, не успеют разыскать постоялый двор до ближайшего отходящего отсюда поезда. До него осталось только два часа. Надо пользоваться этим временем и немедленно уехать всем участникам, в том числе и тебе. Ведь с твоей квартиры ехали на освобождение.

— А как быть с сундуком? В нем еще жандармский мундир и морская сабля, которой мы думали перерубить постромки у пристяжных. Как жаль, что товарищи не взяли ее! Тогда жандармы не могли бы ускакать!

— Ну, что говорить об этом! — ответил он.— Брось все на квартире на произвол судьбы. Багаж весь наверно обыщут в поезде после тревоги и арестуют тебя при его получении, если ты возьмешь с собою сундук. Бери на этот раз билет второго класса. Есть деньги?

— Только семь рублей. И мне надо расплатиться с хозяйкой.

Александр Михайлов, бывший нашим казначеем, вынул мне семьдесят рублей.

— Довольно?

— Конечно. Половина этих денег доедет до Петербурга целой. Можно и меньше.

— Мало ли что может случиться! — ответил он и тут же начал выселять из города и других товарищей.

Я обнялся и расцеловался со всеми и пошел к своей хозяйке, которая еще издали улыбалась мне. Она сидела в своем саду и что-то вышивала.

— Это для вас! — сказала она, быстро пряча материю.

— Что такое?

— Не покажу. Потом, когда будет готово!

— А я, знаете, должен сегодня же вечером на несколько дней уехать в Одессу.

Я нарочно показал ей противоположный путь.

Ее живое личико сразу вытянулось.

— Но не совсем, надеюсь. Наверно, возвратитесь?

— Наверно. Даже свой сундук оставлю у вас.

— Это хорошо.

Она опять оживилась.

— Только вы не будете там искать места? Устраивайтесь у нас в Харькове. Разве дурно здесь вам жить у меня?

Она лукаво посмотрела на меня искоса.

— Нет, — ответил я. — Напротив, очень хорошо, и я возвращусь. Но только все-таки перед отъездом я рассчитаюсь с вами.

И я положил ей на стол плату за месяц.

— Не хочу денег! — воскликнула она, отталкивая бумажку. — Возьмите назад.

Но я не взял и отправился укладывать свои вещи.

Когда я пришел прощаться с нею, она сидела очень опечаленная. Да это и понятно. Мы оба успели привыкнуть друг к другу, проводя все утра и вечера вдвоем целых три недели. Мне тоже стало жалко с ней расставаться, зная, что мы более никогда не увидимся. Как-то она отнесется ко мне, когда узнает, что я вовсе не землемер? Мне стало даже неловко думать об этом моменте. Поймет ли она, что я не мог поступить иначе?

Я взял с собой только ручной сак и пошел пешком. Она накинула шаль и пошла провожать меня до вокзала. Однако, опасаясь, что ее могут арестовать вместе со мной, я сказал ей, что по дороге должен зайти к товарищу, который очень боится женщин. Я уговорил ее возвратиться с полдороги, остановясь перед входом в найденный Александром Михайловым в первые же дни нашего пребывания в Харь-

кове проходной двор и уверив ее, что тут в доме именно и живет мой нелюдимый друг.

Мы расстались, крепко пожав друг другу руки. Она печально пошла обратно, а я, пройдя через вторые ворота на противоположную улицу, спешно направился к вокзалу.

Квятковский и Адриан Михайлов опередили меня на извозчике. Мы сделали вид, что не замечаем друг друга, хотя и тут и на вокзале и не оказалось ничего подозрительного. До отхода оставалось четверть часа, и поезд был уже у платформы.

Взяв билет не до Москвы, а до первой большой станции, я тотчас же отправился в вагон, соседний с тем, в который вошли мои товарищи. Я сел прямо против кругленького веселого и очень разговорчивого господина с сыном гимназистом.

— Вы служите у нас в Харькове?— спросил он у меня, едва я расположился против него на диване, и он успел разглядеть мою землемерскую фуражку.

— Нет! — ответил я. — Я приезжал сюда искать работу в земстве, но, к сожалению, оказалось, что никакой нет.

— Как нет! — воскликнул он. — Кто это вам сказал! Я сам в земстве, и у нас масса, масса работы! Кто говорил вам такую небылицу?

— Какой-то высокий черный господин, не помню его фамилии, — симпровизировал я, захваченный врасплох.

— А, это Хрулев! Знаю его, знаю! Только что же, с ума он что ли сошел? Или, может быть, вы сказали ему что-нибудь очень либеральное или неприятное?

— Не помню, кажется, ничего не сказал особенного.

— Наверно что-нибудь сказали! Иначе быть не может! Оттого он и не захотел. А у нас работы масса, масса!

Он назвал мне свою фамилию и охарактеризировал главнейших деятелей своего земства, — либеральных, с боль-

шим сочувствием, а реакционных с нескрываемым презрением, потом вдруг вынул свои часы и с изумлением посмотрел на них.

— Кондуктор! — обратился он к проходящему железнодорожному служителю. — Почему же мы до сих пор не едем?

— Не знаю. Задержало жандармское управление. Кого-то разыскивают по вагонам.

— Кого же? — привскочив спросил он.

— Не знаю! Не знаю! — ответил кондуктор и спешно ушел далее.

Не могу сказать, чтоб у меня замерло сердце, — оно у меня еще ни разу не замирало в буквальном смысле, — но мне стало очень тревожно при этих словах.

Через минуту в наш вагон вошел жандармский офицер в сопровождении четырех солдат и, остановившись у дверей, начал рассматривать пассажиров.

Вся публика, слышавшая ответ кондуктора земцу, с любопытством смотрела на них, ожидая, что они сделают. Мне ничего не оставалось, как подражать остальным и направить на них тоже вопросительный взгляд.

Офицеру, повидимому, не понравилось такое всеобщее внимание, и он быстро прошел через наш вагон в следующий вместе со своей свитой.

У меня на душе стало весело и легко. Мой сосед полувстал, но опять сел и сказал мне:

— Очень хотел я спросить у него, кого ищут! Мы часто видим друг друга, хотя и не знакомы. Да только я подумал, что он еще будет потом раскланиваться со мной на улицах, и воздержался. Верно что-то очень интересное случилось. Никогда еще не осматривали так поездов!

Раздался свисток локомотива, и мы, наконец, двинулись в путь. Мой спутник высунулся в окно и, оглядев платформу, сказал мне снова, обернувшись через свое плечо:

— Никого не нашли, стоят все пятеро с пустыми руками!

Главный контролер, прошедший вскоре, объяснил ему, что произведено нападение на жандармский конвой, везший важного политического преступника.

Доехав до Белгорода, первой большой станции, до которой я взял билет в Харькове, я — купил на ней билет до Москвы, сел с ним в другой вагон, и новый контролер сделал на нем отметку. Как я и ожидал, никто не обратил внимания, что я еду далее уже не с тем билетом, с которым выехал, и у меня даже не отобрали прежнего, когда ему кончился срок. Я выбросил его в окно.

Только теперь я счел себя в полной безопасности, так как в случае подозрений обратят внимание исключительно на имеющих харьковские билеты. Но и этого не вышло. Правда, на всех больших остановках, было явное возбуждение среди жандармов, и они проходили сквозь все вагоны, а в Москве нас встретила даже целая толпа их, но никто из приезжих не был остановлен для обыска, и я с отрадою в душе сел там на извозчика и увидел, как то же самое сделали невдалеке Квятковский и Адриан.

«Теперь наш след окончательно простыл! — подумал я. — Что-то с остальными?»

И вот я снова приехал в Петербург. Я разыскал моих оставшихся там друзей. Я не пошел более жить к Грибоедову, хотя Вера Засулич и была уже благополучно отправлена от него за границу контрабандным путем. Я решил жить без определенного места, ходя ночевать поочередно то к одному, то к другому из многих сочувствующих мне людей.

Самыми интересными из них были несомненно две молодые барышни: художница Малиновская, с роскошным ореолом белокурых волос на своей живописной головке, и акушерка Коленкина, обладавшая менее живописной внеш-

ностью, но такая же добрая и приветливая, как и ее подруга. Они нанимали квартиру в четыре комнаты с кухней. Ночуя вдвоем в своей спальне, они предоставляли мне диван в гостиной, когда я слишком долго засиживался у них. А засиживаться там были важные причины. Их квартира служила как бы клубом для всех моих новых друзей «троглодитов», собиравшихся сюда по вечерам пить чай и видеться с сочувствующими лицами, не принадлежащими к их тайному обществу. Здесь виделся с ними и я, хотя у некоторых из них и на их собственных квартирах. После нашей общей попытки освобождения Войнаральского они начали считать меня своим постоянным товарищем, хотя я и не соглашался еще формально присоединиться к ним, считая себя связанным с кружком Веры.

Все газеты писали в это время о нашей «дерзкой попытке» освободить Войнаральского, и я знал из них еще несколько дней назад, что один из участников нашей экспедиции арестован на харьковском вокзале. Но кто это был, я так и не мог догадаться, потому что арестованный не сказал жандармам своей фамилии. Только через неделю дошли до меня, наконец, подробности всего, случившегося в Харькове после моего отъезда.

Я пришел раз к Малиновской и увидел у нее Перовскую, вскочившую с обычной живостью при моем приходе и стремительно бросившуюся ко мне здороваться в передней.

— Вот и я приехала! — воскликнула она смеясь.

— А кто арестован на вокзале?

Ее радостное лицо сразу омрачилось.

— Медведев!

— Как же он попался?

— Благодаря своей медлительности! Мы все говорили ему, что нужно уезжать в тот же самый день. Но он не решился и остался у нас. А на следующий день, когда весь Харьков был поставлен чуть не на военное положение, он

вдруг почувствовал опасность в нем долее жить и решил уехать.

— Кто же его узнал? Ведь он не успел попасть на перестрелку, заблудившись на дороге. Жандармы его не видали.

— Но его знали на постоялом дворе! Как мы и ожидали, полиция немедленно побежала везде справляться, откуда в то утро выезжала бричка тройкой? К вечеру было уже все определено. Содержатель постоялого двора, оказавшийся большим монархистом, был тотчас же отправлен на вокзал осматривать из темного угла всех входящих туда, и, конечно, сейчас же узнал Медведева. С тем же самым поездом благополучно уехал Баранников вместе с Ошаниной, так как его на постоялом дворе никогда не видали, а жандармы, везшие Войнаральского и видевшие его, не успели возвратиться в Харьков. И Баранников, и Ошанина видели, как Медведева, подошедшего к кассе, вдруг схватили сзади за руки четверо переодевшихся в штатское платье жандармов и потащили в правление. Баранников чуть не бросился с револьвером освобождать товарища, но Ошанина не пустила его, так как все боковые помещения вокзала были полны вооруженными солдатами. Спасти Медведева при таких условиях не было ни малейшей возможности.

— А Александр Михайлов здесь?

— Здесь. Мы оба выехали вместе и после всех. Мы считали себя в безопасности, потому что не были лично ни на перестрелке, ни на постоялом дворе. С нашим отъездом все дело можно считать ликвидированным и не только без всяких положительных результатов, но с серьезными лишениями для нас.

Она грустно повесила головку свою, и на глазах ее блеснули слезы.

Во всем этом разговоре меня особенно поразило употребленное ею выражение — «дело ликвидировано».

Мы часто говорили так о других предприятиях, и выра-

жение это не казалось мне каким-либо диссонансом. А здесь оно так резко вошло в мой ум, что звучит в нем даже и теперь, когда произнесшей его Перовской уже давно нет на свете.

Я думаю, это случилось оттого, что попытка отбить Войнаральского нисколько не была тогда ликвидированной для меня.

Прежде всего на ней я впервые почувствовал, что для меня начинается настоящая революционная деятельность, а не призрачная, какая была раньше, до моего заключения. Раньше была у нас только пропаганда словом и притом на ухо.

Раньше, по выражению Волховского:

Мы погибали незаметно,
Как погибает муравей,
Ногой досужею бесследно
Раздавленный среди полей...

Раньше никому до нас не было дела, кроме наших собственных товарищей, да близких родных, да жандармов, составлявших на нас свои карьеры. Потом, после этого предварительного периода, пошло более громкое распространение наших идей осуждавшими нас политическими судьями. А теперь мы начали сами сильно и громко возвещать необходимость гражданской свободы самим делом, представляя врагам говорить о нас все, что они хотят, в полной уверенности, что наших истинных побуждений никому из них не удастся исказить надолго или навсегда.

А что же случилось с моей квартирой? — Что случилось с сундуком, где была сабля, жандармский мундир и все признаки моего участия в деле?

Они прошли без следа.

Моя «офицерская вдова», о которой я не имел с тех пор никаких известий, очевидно все припрятала, чтоб не выдавать меня моим врагам.

НОВЫЕ ПЛАНЫ.[1]

Когда я приехал из Харькова в Петербург, я снова пошел прежде всего на Петербургскую сторону к Кравчинскому.

«Очистившись водою», т. е. переплыв Неву в наемной лодочке, чтоб убедиться, что сзади нет никакого подозрительного субъекта, я попрежнему высадился на другом берегу, вошел во двор его дома и через него в небольшую его квартирку в две комнаты. Кравчинский, сидя перед окном, показывал Михайлову четырехгранный стилет, очевидно, специально сделанный для него каким-нибудь сочувствующим оружейником.

— Это для кого? — спросил я его.

— Для начальника Третьего отделения, Мезенцева, — ответил он, и темные, как ночь, глаза его вспыхнули моментальным огнем.

— Почему именно для него?

— Он беспощаден, как может быть только человек, думающий, что всякую жестокость можно искупить постом и молитвой перед иконами. Он молится, отправляясь в Третье отделение для того, чтобы заточать и ссылать людей, и молится, возвращаясь от тамошних дел. В своей семье он добр, но далее семьи не идет его кругозор. Это кругозор тигра, бросающегося из джунглей на свою жертву и несущего ее детям.

— Но ты же перед моим отъездом в Харьков хотел мстить графу Палену?

— Пален спасся тем, что вышел в отставку. И это хорошо. Мезенцев много вреднее его.

— Значит, ты окончательно решился на это?

— Да. Мы с Михайловым уже составили и план, и начали осуществление. Михайлов неделю тому назад поставил

---

[1] См. примечания 4 и 5.

незаметных наблюдателей за квартирой Мезенцева. Они уже определили время, когда он выходит каждое утро со своим помощником, каким-то полковником, молиться в часовню, за несколько улиц от его жилища. Вот там-то, на дороге к замаливанию грехов, он и будет за них наказан.

— Значит, ты думаешь встретить его прямо на улице?

— Да.

— Но тебя сейчас же схватят!

— Может быть и нет! Меня там будет поджидать Варвар (так назывался знаменитый в революционном движении 70-х годов рысак, на котором было совершено освобождение Кропоткина и ряд других революционных дел). Править будет Адриан, а Баранников будет сидеть в шарабане, и если меня кто схватит, он его уложит выстрелом из револьвера. Ударив Мезенцева этим стилетом, я постараюсь вскочить в шарабан, и мы умчимся, если нужно — отстреливаясь. Ты знаешь, что Варвара никто не догонит, а шарабан у нас очень легкий и прочный.

— Но все же... днем... на людных улицах... в самом центре Петербурга... Ведь все будут против тебя, никто не поймет твоих побуждений...

— Я знаю, что мне больше шансов погибнуть, чем спастись, но это и дает мне решимость. Пока есть опасность, это борьба, а не простая карательная экспедиция, на которую я не способен.

Я взглянул на его лицо. Мне не верилось, что у него достанет решимости совершить задуманное. Его душа была слишком мягка. Он был ранее артиллерийским штабс-капитаном, но вышел в отставку по гуманитарным соображениям.

«Ему будет страшно трудно в решительную минуту, — подумал я, — и он пройдет мимо своего врага, не в силах нанести ему смертоносного удара, как это и было с Пале-

ным», — которого, как я уже знал, он не раз встречал я мое отсутствие, но не был в состоянии сделать ему вреда.

И я не ошибся в этом. На следующий же день, когда он вместе с Баранниковым выехал навстречу Мезенцеву, идущему молиться в свою часовню, он прошел мимо него, ничего не сделав. Он выехал на следующий день, и повторилось то же самое.

— Оставь это дело, Сергей! — сказал я ему, придя после его второго выступления. — Ты только измучишь себя и никогда не будешь в состоянии вонзить в кого бы то ни было свой стилет.

— Нет! — меланхолически ответил он мне. — Я пересилю свое мягкосердечие, губительное для революционера, хотя бы пришлось умереть после этого. А вот тебе, — прибавил он, явно чтоб перевести разговор на другую тему, — опять предлагают ехать на освобождение товарища по твоему процессу.

— Кого?

— Иди к Малиновской, и тебе там все расскажут, — сказал он мне с таинственной улыбкой.

Я сообразил, что после двух неудачных выходов, ему хочется остаться одному, чтобы поговорить со своею собственной совестью, и, простившись с ним особенно нежно, без дальних разговоров отправился по его указанию.

Это было осенью 1878 года.

Когда я пришел в квартиру Малиновской в Измайловском полку, она бросилась встретить меня с особенно радостным видом.

— Мы вас ждем уже второй день! — воскликнула она. — Почему вы не были у нас вчера?

— Все время просидел у Александра (Михайлова) и у него остался ночевать.

— А нам вы совершенно необходимы.

— Что такое?

— Мы хотим просить вас освободить Брешко-Брешковскую.

Это была одна молодая и чрезвычайно симпатичная женщина, осужденная на четыре года каторожных работ за участие в пропаганде среди крестьян. Я уже знал, что ее собирались скоро везти в Сибирь.

— Успею ли подготовить освобождение? Ведь ее повезут, если не сегодня, то завтра.

— Уж увезли вчера! Но вы попытайтесь. Мы собрали для этого триста рублей денег. Она объявит себя в Нижнем больной и откажется ехать далее. Она рассчитывает задержаться по болезни на неделю.

Я стал соображать, что тут можно сделать.

— До Нижнего-Новгорода, — ответил я, наконец, — ничего нельзя предпринять, потому что ее повезли по железной дороге, и я не догоню. А за Нижним возят в Сибирь на тройках в сопровождении двух жандармов. Там можно ее отбить, если я найду себе еще троих товарищей.

— А как это сделать?

— Я не люблю сложных и дорого стоящих планов. Смелые и простые способы всегда осуществимее. Мы, например, выйдем пешком на дорогу как простые гуляющие и сядем где-нибудь у мостка через ручей. Перед тем, как жандармы подъедут, можно будет вынуть из мостка два или три бревна и крикнуть их ямщику, чтоб ехал осторожней, так как мост прогнил и продавился. А когда ямщик придержит лошадей, тогда я и еще один из товарищей воткнем по колу в спицы их задних колес. Колеса не будут вертеться, и им нельзя будет умчаться, а мы, прицелившись в жандармов и в ямщика из своих револьверов, прикажем всем немедленно выйти из телеги. Затем мы их свяжем и, оставив на дороге, ускачем на их же собственных

лошадях в Нижний, где Брешковской нужно иметь верное убежище на месяц, до тех пор, пока не прекратятся облавы на нее.

— А вы сами останетесь в Нижнем?

— Мы освободим ее загримированными, и нас никто не будет в состоянии узнать, тем более, что теперь начинается Нижегородская ярмарка, и весь Нижний будет полон приезжими.

— Вот будет кавардак, — сказала Малиновская, — когда жандармы начнут обыскивать и задерживать целые тысячи приехавших купцов!

Она звонко рассмеялась, представляя в своем воображении всеобщий переполох коммерсантов, приехавших туда исключительно для торговых сделок.

— Но только как же я узнаю, что она приехала в Нижний? — спросил я.

— Там есть у нас знакомый, известный губернский деятель Фрейлих, он всех знает в Нижнем и настолько сочувствует нам, что сейчас же разведает, в тюрьме она или в больнице, и когда ее увезут.

— А еще есть там кто-нибудь из сочувствующих?

— Есть один студент — Поддубенский и один городской врач.

— Тогда давайте мне все эти адреса и рекомендации, и я завтра же уезжаю. Ни минуты нельзя терять!

На другой день я отправился в Нижний-Новгород в восторге от такого симпатичного мне поручения. В случае нужды я хотел попытаться отнять Брешковскую даже единолично, неожиданным появлением в ближайшем удобном месте, варьируя свой план, судя по условиям местности, которую я решил предварительно исследовать.

«Там, — думал я, — на дороге в Сибирь, ясно будет видно, что надо делать. Только бы приехать во-время!»

И я приехал.

— Куда прикажете? — спросил меня извозчик у крыльца нижегородского вокзала.

— В какую-нибудь гостиницу!

Экипаж въехал в глубокий овраг, по обе стороны которого на высотах, разделенных новыми такими же оврагами, были рассыпаны дома, домики и церкви с золочеными и просто крашеными главами. Извозчик привез меня в гостиницу, где мне дали во втором этаже небольшой чистенький номер с двумя окнами.

Оставшись один, я тотчас выглянул в одно из них и увидел перед собою скверик, на который выходил фасад моей гостиницы, а посреди скверика блестел, как зеркало, пруд в зеленых берегах. Это было очень красиво, и я невольно залюбовался на несколько минут открывшейся передо мною и мало привычной в больших городах картиной.

— Позвольте ваш паспорт! — заявил возвратившийся служитель.

Я вынул из кармана сфабрикованный для меня «троглодитами» вид почетного потомственного гражданина Нижегородцева и, вручив ему, сказал:

— Только поскорее возвратите! — Мне нужно получать деньги!

— Слушаюсь! — и он исчез.

Переодевшись и умывшись, я немедленно отправился к Фрейлиху со своей рекомендацией. Кругленький бритый господин с фигурой немецкого булочника принял меня в своем кабинете в красивом деревянном домике. Окно кабинета выходило в сад, сплошь усаженный цветами. Цветы и цветы, куда ни поверни глаза!

— Я и моя жена очень любим цветоводство и все насадили сами, — заявил он мне, заметив мой долгий взгляд в окно и еще не прочитав рекомендации.

Затем, проглядев бумажку, он справился о здоровье своих петербургских друзей и озабоченно произнес:

— Конечно, я могу всегда узнать, кого из политических привезут в тюрьму, но могут посадить и в арестантское отделение городской больницы, и это всего скорее, а я там не имею верного человека.

— Так пожалуйста, последите за тюрьмой, а относительно больницы я и сам как-нибудь постараюсь. Кто из докторов здесь получше?

Он мне назвал фамилию, которую я теперь забыл.

— Он по каким болезням?

— По внутренним.

— Вот и отлично. А в какие часы в больнице прием приходящих?

Он взглянул на часы.

— Кажется через час.

— А далеко больница?

— Четверть часа ходьбы.

— Так я сейчас же побегу туда жаловаться на сильную боль в желудке, а вы уж как-нибудь сегодня же узнайте в тюрьме.

Я побежал в городскую больницу. Сейчас же за ее парадными дверьми была большая комната, где вешали платье, и там же дожидались посетители. Отдав швейцару свое пальто, я спросил его о нужном мне докторе, но он в тот день как раз был заменен другим. Это было большое разочарование. Однако, не желая уходить, я согласился и на второго доктора и стал прохаживаться взад и вперед, осматривая помещенье. Направо от входа был небольшой коридор, дверь которого оказалась отворенной, и в нем ходил взад и вперед солдат с ружьем.

— Что это такое? — спросил я швейцара.

— Арестантское отделение.

— А доктора туда ходят?

— Ходят.

Какая-то, только-что вошедшая в больницу, очень красно-

речивая женщина подошла к швейцару и начала что-то бестолково говорить ему. Воспользовавшись тем, что его внимание отвлечено, я быстро пошел в арестантский коридор с таким деловым видом, как будто совершаю это уже десятый или сотый раз. Глядя озабоченно в пространство, я близко прошел мимо вопросительно взглянувшего на меня и явно не знавшего, что ему делать, часового, как будто совсем его не замечая. Я взглянул в окошечко первой левой двери, потом второй, третьей, которая, насколько помню, была и последней, повернул на правую сторону, внимательно заглянул в окошечки и ее камер, затем спокойно прошел назад мимо часового как человек, убедившийся, что здесь все в порядке, и снова вышел в швейцарскую.

— Дайте-ка мое пальто обратно,— сказал я служителю.— Я лучше приду завтра, когда будет нужный мне доктор,— и, дав ему пятиалтынный, ушел совершенно удовлетворенный: во всех арестантских камерах были только мужчины,— ее здесь нет!

— Видите, как все просто делается, — сказал я Фрейлиху о результатах своей импровизированной ревизии, едва явившись к нему.

Тот расхохотался добродушным смехом.

— Это был неопытный солдат, другой вас не пустил бы.

— Ну и что же? Тогда я сказал бы ему, что не знал о запрещении туда ходить, и пошел бы обратно. Завтра или послезавтра я опять так сделаю.

И я, действительно, начал ходить в больницу через день и в тот момент, когда швейцар, неумышленного вмешательства которого я очень опасался, уходил с докладом, я с важным видом осматривал все арестантские камеры и ни разу не был остановлен часовыми, очевидно принимавшими меня за какого-то местного ревизора!

Итак, здесь не было Брешковской! Не было и в тю-

ремном замке, как я узнавал от Фрейлиха. Где же она находится?

— Очевидно, ее задержали в Москве и привезут позднее, — говорил Фрейлих.

Я продолжал свои приготовления к ее освобождению, стараясь привлечь к делу местную молодежь, с которой сейчас же и начал знакомиться. Прежде всего, и даже в первый же день по приезде, я пошел, конечно, к рекомендованному мне студенту Поддубенскому, жившему на летних каникулах в доме своей матери. Вся их семья состояла только из трех человек: его, единственного сына, и затем матери и тетки, которые обе не могли налюбоваться на него.

Меня встретили там с таким радушием, с каким принимают людей только в провинции. Тотчас же поставив самовар, они начали угощать меня всевозможными домашними вареньями, одно из которых было приготовлено из молодых розовых лепестков и обладало удивительным ароматом и вкусом.

— Никогда я не воображал, что можно делать варенье из цветов, — сказал я обеим дамам. — А много их уйдет на большую банку?

— Почти целый домашний сад, — простодушно ответила мне тетя, — конечно, если он не весь будет засажен розами.

Это сразу отбило у меня охоту рекомендовать кому-нибудь приготовление подобного варенья, хотя оно и было удивительно хорошо.

Уйдя, наконец, с Поддубенским в его комнату в мезонине, я откровенно рассказал ему о причине моего приезда.

— Вы можете участвовать? — спросил я его.

— Непременно буду.

— А кого бы еще пригласить?

Он задумался.

— Из местной молодежи нет таких, которых я решился бы рекомендовать. Тут нужна выносливость, сила и смелость.

— А разве здесь есть еще и не местная молодежь?

— Есть.

— Какая же?

— Здесь живет Якимова, ваш товарищ по большому процессу.

— Но женщины неудобны для нападения.

— Я говорю не о ней, а о ее товарищах. Видите ли, — прибавил он, — Якимова приехала сюда вместе со своим хорошим знакомым, студентом Ширяевым, вести пропаганду среди фабричных рабочих. Они оба поступили на фабрику и там нашли замечательного рабочего Халтурина, сильного, смелого, много читающего и всей душой отдавшегося новым общественным идеалам.

— Так вы думаете, что Ширяев и Халтурин будут годны?

— Безусловно! Лучше их и найти нельзя.

— Итак, значит нас четверо, —воскликнул я с радостью.— А больше нам и не надо! Когда же можно будет мне познакомиться и сговориться с ними?

— Завтра вечером я приглашу их к себе.

— А нельзя ли лучше ко мне в гостиницу? Так будет меньше следов, когда мы отобьем Брешковскую, и начнутся по всему городу розыски.

— Это верно, — заметил он. — Мои родные не выдержат, если их арестуют и все расскажут. Но я думал, что вы будете скрывать от всех свой адрес, как делали другие, приезжавшие к нам из Петербурга.

— От вас нет!

И я сказал ему фамилию, под которой я поселился, и название гостиницы.

НОЧНОЙ КОШМАР.

Я возвратился к себе совершенно удовлетворенный собранной мною компанией. Я отворил свое окно, во втором этаже, и стал в него смотреть,

Теплая летняя ночь опустила уже над землей свои темно-синие крылья. Полная луна смотрела с безоблачного неба прямо в мое лицо, отбрасывая на пол моей комнаты косые изображения двух окон. Круглый ее диск отражался в спокойной воде пруда, темневшего в середине садика передо мною так ясно и отчетливо, что я сразу мог увидеть там все подробности его пятнистой поверхности, начиная от овального темного «Моря кризисов» вверху ее правой стороны и кончая неопределенными очертаниями нижних лунных континентов. Освещенные бледным светом деревья по берегам пруда приняли фантастический, сказочный вид каких-то великанов, закутанных в темные плащи. Ряд городских домов на противоположной стороне площади, такие обычные при дневном свете, стали казаться теперь волшебными, таинственными замками.

Я сошел с окна, на котором сидел, запер на ключ дверь своей комнаты, не зажигая огня, отпер чемодан и стал осматривать свои запасные револьверы и кинжалы, выложив их на подоконник. Синим блеском сверкнула вороненая сталь револьверов при лунном свете, придав оружию такой же сказочный вид, как и всему остальному. Убедившись, что оно в порядке, я положил все обратно в чемодан и, заперев его, лег спать.

Звонкое звяканье шпор в коридоре вдруг разбудило меня.

Вот прошли отдельные бряцающие шаги мимо моей двери и, возвратившись, остановились прямо у моего номера. К ним присоединились вторые, третьи, четвертые, все такие же бряцающие... Там, в коридоре, набралась целая толпа военных и начала что-то потихоньку обсуждать.

«Меня узнали! — пришло мне в голову. — Это жандармы, пришедшие арестовать меня! —Моего паспорта мне еще не возвратили из полиции. Верно узнали, что он не настоящий, или выследили меня от Поддубенского!»

От мысли вновь попасть в одиночное заключение у меня мороз пробежал по спине.

Опять подвергаться вечному враждебному наблюдению через окошечко тюремной двери, опять попасть на невыносимые тягучие допросы, опять считать сказанную на них ложь доблестью и бояться слова правды как преступления!— Это была для меня такая ужасная перспектива, одна мысль о которой леденила меня.

«Нет! я не пущу их! — говорил я в отчаянии сам себе. — Я буду защищаться. У меня много оружия и патронов. Пусть они лучше убьют меня, но не возьмут живого!»

Я встал с постели и неслышно пошел босыми ногами к своему чемодану. Я тихо отпер его и выложил свои заряженные револьверы и коробки с патронами на круглый столик перед диваном комнаты. Как раз на него падали теперь лучи луны, сильно переместившейся за время моего сна. Был первый час ночи, обычное время обысков.

Я вновь чутко прислушался. Вот пришли новые жандармы, осторожно бряцая шпорами. Нетрудно было сообразить, что весь коридор наполнился ими.

«Мне невозможно броситься бежать с выстрелами через коридор, — подумал я. — Пришлось бы все время проталкиваться между ними! Схватят сзади».

Я тихо подошел к окну и выглянул на улицу. Там вдали стояли направо и налево от подъезда моей гостиницы оседланные верховые лошади и не менее пятидесяти человек сошедших с них солдат. В садике, перед прудом, тоже повсюду ходили и сидели солдаты.

«Почему такая облава? — пришло мне в голову. — Неужели они считают меня таким отчаянным? Или приняли за кого-нибудь другого?»

Мое окно было прямо над крыльцом гостиницы. Я мог вылезть из него на крышу крыльца и с нее спуститься по одному из столбиков, а затем мог броситься бежать, от-

стреливаясь каждый раз, когда чья-нибудь рука будет готова схватить меня, и попытаться скрыться в темных, безлюдных соседних переулках.

«Но если облава не на меня, а на кого-нибудь другого? — подумал я. — Ведь это возможно, хотя и мало вероятно. Тогда я сам себя выдам. Нет! Я должен ждать их нападения и ни в коем случае не начинать его самому».

Ко мне никто не стучался. Я подошел к двери и попробовал заглянуть в щель, внизу. Дверь противоположного номера была открыта, и в ней был свет, как освещен был и весь коридор. В номере напротив сидело пять человек, все в сапогах со шпорами. По коридору то-и-дело проходили такие же сапоги. Явно, что и коридор, и все свободные номера, прилегающие к нему, были переполнены военными.

«Здесь целый эскадрон жандармов! — сказал я сам себе. — Но почему же они не ломятся ко мне? Очевидно, они как-нибудь узнали, что я буду защищаться... Они ждут, когда я проснусь и отворю дверь, чтоб позвать коридорного для умывания! — догадался я. — Тогда они, выскочив с обеих сторон, схватят меня за руки. Да, план очень ловкий! Но я этого не сделаю. Я буду ждать, пока им надоест. Я буду притворяться спящим всю ночь, а до дня они сами не будут ждать. Они — ночные птицы: не любят света».

И вот, положив четыре револьвера на ночной столик перед кроватью, я тихо надел свое платье и обувь, положил перед собой носимую тогда мною «для конспирации» землемерскую фуражку, чтобы быть готовым сейчас же надеть ее на случай бегства, и лег на постель, прислушиваясь к малейшим доносящимся до меня извне звукам.

Так час проходил за часом в ожидании почти неминуемой гибели. Но вот восток начал бледнеть, вот он заалел от зани-

мавшейся утренней зари, и лучи взошедшего солнца брызнули, наконец, по крышам противоположных домов, а облава все оставалась в прежнем виде... Часам к шести в коридоре началось опять какое-то движение, снова усиленно заходили шаги взад и вперед, потом все затихло. Я подошел к окну и выглянул на улицу. Там более не было ни лошадей ни всадников.

Как могли они уехать до такой степени неслышно? Привыкнув к мощеным петербургским и московским улицам, я не принял во внимание, что здесь была мягкая земля, и потому копыт лошадей, если они шли шагом, мне, при нарочно затворенных мною рамах, почти не было слышно.

«Что такое? — подумал я. — Может быть, все это исчезновение устроено только для моего успокоения? Ночь прекратилась, нет опасности, что я скроюсь во тьме, и потому не зачем держать на улице все войско».

Возвратившись в постель, я прождал на ней до семи часов. В коридоре было попрежнему тихо. Снова встав, я потихоньку повернул ключ в замке моей двери как раз настолько, чтоб она могла приотвориться ранее, чем замок щелкнет, и, нажав осторожно ручку, сразу отодвинул дверь внутрь коридора, готовый ее захлопнуть, если покажется посторонняя рука. За дверью никого не было. В коридоре тоже все было пусто направо и налево до самого конца. Я снова незаметно запер дверь, взял свои револьверы и кинжалы со столика перед кроватью и положил их обратно в чемодан, оставив у себя в кармане только обычный маленький револьвер. Подойдя затем к двери, я вновь приотворил ее, как прежде, и, смотря в коридор, нажал кнопку звонка к служителю. Мне нужно было видеть, пойдет ли он ко мне один или в сопровождении жандармов. Прошло томительных две минуты, и вдали показался, позевывая, коридорный без всякой свиты.

— Что это у вас за возня была ночью? — спросил я его еще раньше, чем он подошел к двери.

— Проезжие уланы нагрянули! — досадливо сказал он. — Всю ночь не дали спать. Только в шесть часов утра уехали.

Как вдруг легко и хорошо стало у меня на душе!

— Принесите мне воды умыться! — сказал я ему, чтоб объяснить свой звонок. — А зачем же они нагрянули?

— Целый полк приехал. Куда тут поместиться, когда везде спят? Вот и остановились на площади, а офицеры всю ночь пили чай во всех свободных номерах.

Оставшись, наконец, один, я вместо того, чтоб умываться, снова разделся и, с наслаждением бросившись в постель, спал в ней крепким сном до двенадцати часов дня!

«Как необходимо хладнокровие в деятельности заговорщика» — думал я, проснувшись. — Представить себе только, что вышло бы, если бы, благодаря возникшей у меня среди ночи полной уверенности, что это облава на меня, я решил бы воспользоваться для своего спасения, как пришло мне в первую минуту в голову, ночной темнотой и, не ожидая утра, выскочил бы на улицу с револьвером и бросился бы бежать через целый уланский полк, который, конечно, инстинктивно погнался бы за мною! Если б даже я и пробился и спасся, то дело, для которого я был сюда послан, было бы разрушено мною самим, и мне пришлось бы только умереть со стыда.

У меня замерло сердце от одной мысли о подобной перспективе. В эту кошмарную ночь я пережил вовсе не комическое приключение, как может показаться с первого взгляда, а действительную и притом самую смертельную опасность во всей моей жизни! И до сих пор я не могу вспоминать о ней иначе, как о такой огромной опасности.

УДАР НА УДАР.[1]

И Фрейлих и доктор больницы, с которым я уже познакомился и потому перестал лично ревизовать арестантское отделение, сообщали мне каждый день, что Брешковской еще нет в Нижнем и никогда не было раньше.

— Больше как в Москве ей негде быть! — сказал мне доктор.

— Но почему же ее так долго там держат?

— Может быть, она действительно заболела? — полувопросительно заметил он.

— Это было бы отчаянно скверно!

У меня стало очень беспокойно на душе. Чтоб немного развлечься, я, от нечего делать, ходил в «нижний город», за реку, где ярмарка шла уже в полном разгаре. Мы тискались между разношерстными посетителями, главным образом, мужчинами, валом-валившими взад и вперед по тесным улицам, между магазинами и импровизированными лавками, пили чай в нескольких из многочисленных трактиров, где совершались торговые сделки под визгливые голоса арфисток, выступающих и группами, и соло на своих эстрадах и поющих большей частью двусмысленные романсы.

И вдруг, в одном из таких кафе-шантанов, в который я пошел с Ширяевым пить чай и наблюдать нравы, я взял газету и прочел в ней ужасное известие, как каленым железом вонзившееся мгновенно в мое сердце. Оно было очень коротенькое:

«Ковальский и его товарищи, студенты Одесского университета, оказавшие вооруженное сопротивление жандармам, пришедшим их арестовать, и приговоренные военным судом к смертной казни, вчера повешены, и войска с музыкой прошли по их могилам».

Я не могу здесь описать того переворота, который в один

---

[1] См. примечание 6.

миг произошел в глубине моей души. Это была первая казнь моих товарищей по убеждениям, и действие ее было как неожиданный удар бича по моему лицу. Все мое обычное благодушие было выметено из меня, как пыль из давно замкнутой комнаты, в которой сильным порывом урагана были вышиблены сразу все окна и все двери...

— Что такое с вами? — воскликнул Ширяев, отшатнувшись от меня. Я молча протянул ему газету и показал пальцем строки. Он побледнел, как полотно, губы его сжались, серые красивые глаза словно вспыхнули огнем.

— Пойдемте отсюда! — сказал он мне.

Мы быстро вышли и молча возвратились в «верхний город».

— Что вы думаете теперь делать? — спросил меня Ширяев по дороге. — Этого нельзя так оставить.

— Нельзя! — ответил я. — Иначе нам лучше всего признать себя неспособными к активной борьбе, собрать свои пожитки и ехать в свободную Америку. Зачем только я согласился отправиться сюда, на это освобождение! Теперь оно совершенно связывает меня.

Мы оба шли дальше и дальше, не говоря ни слова.

Ширяев простился со мной и побежал передать ужасное известие Халтурину и Якимовой. Я пошел к Фрейлиху...

— Что, нет еще Брешковской? — спросил я его.

— Сегодня утром не было нигде! — ответил он. — А вы читали о казнях в Одессе? — прибавил он с сильным волнением в голосе.

— Да, — ответил я. — Но я не могу сейчас говорить об этом... Я пойду ходить один по улицам.

Он понял мое состояние и не удерживал.

Идя все быстрее и быстрее, все вперед и вперед, не зная куда, я вышел, наконец, из пределов города и пошел по нагорному берегу Волги. Чудная картина природы и могучей реки, несущейся в безбрежную даль внизу подо мною, более не действовала на меня. Я вдруг почувствовал себя

совершенно безразличным к этой стихийной красоте и, круто повернувшись, пошел обратно в город. Теперь я чувствовал себя уже совершенно и безвозвратно обреченным.

«Я не могу более жить, — думал я, — не отомстив за казненных товарищей... Пусть поведут и меня на казнь, как их, когда я совершу свое дело».

Я старался представить себе ощущение Ковальского и его товарищей, как их вели на казнь, как одевали живыми в саваны, как надевали им на шею веревки, и как палач выбил ударом ноги из-под них скамьи, и они качаясь повисли в воздухе. Что они чувствовали в последний момент?

«Все это почувствую и я, когда отомщу за них!»

Я возвратился в свой номер и бросился, закинув руки за голову, на постель. Я в этот день не ел и не пил и ночью заснул, не раздеваясь. Через день утром вбежал ко мне Ширяев с новой газетой в руках.

— Смотрите! — взволнованно воскликнул он, показывая мне строки.

«Начальник Третьего отделения собственной его императорского Величества канцелярии, — прочел я, — убит кинжалом на одной из людных петербургских улиц. Убивший скрылся на подъехавшем рысаке».

Словно луч яркого летнего солнца, пробившийся среди непроглядных грозовых туч, осветил вдруг всю мою душу.

«Сергей! Милый, дорогой друг! Это ты сделал!» — промелькнуло у меня в уме.

Мне вспомнилось, как Кравчинский перед моим отъездом сюда пропустил уже мимо себя три раза этого самого Мезенцева.

«Да! — повторял я, — он никогда не решился бы поднять на него свою руку без телеграммы об этой самой казни!»

Как легко стало у меня на сердце! Но вдруг страшное беспокойство овладело мною. Действительно ли он скрылся?

Действительно ли его не схватили уже? Долго ли я здесь буду еще ждать и не полечу к нему, чтобы обнять его, расцеловать, охранять от всякой опасности? Я вновь побежал и к доктору, и к Фрейлиху, и вновь узнал, что Брешковской здесь нет и не было.

Наступил следующий день, потом еще один с тем же результатом. С самого утра я набрасывался, как никогда ранее, на газеты и узнал новые подробности события.

«На углу Михайловской площади и Итальянской улицы начальник Третьего отделения шел в часовню молиться вместе со своим другом, полковником Макаровым. Неизвестный высокий брюнет (явно Кравчинский!), подойдя к нему, поразил его кинжалом в грудь. Когда полковник бросился схватить его, другой, тоже высокий, но более молодой брюнет (в котором я тотчас узнал Баранникова), выстрелил в полковника из револьвера, и когда тот отскочил, оба сели в шарабан, запряженный серым в яблоках рысаком, и быстро уехали от преследующих». Так рисовалась, по газетам, фактическая сторона дела, а моральный его двигатель восстановил я сам по тому, что чувствовал, прочитав телеграмму о казнях в Одессе.

О, с каким нетерпением хотелось мне скорее получить известие о приезде Брешковской, освободить ее и тотчас же умчаться в Петербург.

И вдруг я получил это известие, но только не оттуда, откуда ждал, и не в таком виде!

Утром один приехавший знакомый принес мне письмо из Петербурга. Я открыл его со страшным нетерпением и прочел строки, написанные почерком Малиновской.

«Возвращайтесь назад, ее провезли в Сибирь еще раньше, чем вы приехали в Нижний. Она требовала остановки, заявляя, что очень больна, но жандармы не обратили на ее заявления ни малейшего внимания и провезли далее, даже не останавливаясь в Нижнем».

Итак, все мои приготовления рассыпались, как карточный домик! Эта развязка была так неожиданна, что мне даже не верилось.

Собрав все свои вещи в чемодан, я наскоро побежал проститься со здешними товарищами, объяснил им неудачу дела и с первым же поездом помчался в Петербург.

ОЛЬГА ЛЮБАТОВИЧ. [1]

— Здравствуй! — воскликнул я, бросаясь в объятия Кравчинского, которого застал у Малиновской в самый момент моего возвращения.

Он крепко обнял меня. Как он преобразился! Он словно вырос, его черные глаза сверкали теперь совсем новым огнем. Я смотрел на него с восторгом.

— А знаешь, — сказал я ему, не дожидаясь его ответа, — ведь без казни Ковальского с товарищами ты никогда бы этого не сделал!

Он утвердительно кивнул головой.

— Пойдем на мою новую квартиру, — сказал он мне. — Ты знаешь, я теперь женат.

— На Фанни? А я думал, что у вас расстроится дело, ты ведь давно за ней ухаживал, а она не соглашалась.

Он улыбнулся.

— Да! До того случая! А после него, ты понимаешь, она уже не могла более сопротивляться.

— Я очень рад, — сказал я, — это чудная девушка.

Мы вышли на Измайловский проспект.

— Как ты не боишься ходить по петербургским улицам? Ведь это неосторожно.

— Я сам так думал, — отвечал он, — но потом убедился, что опасности не больше, чем и прежде. Все произошло так быстро, что даже полковник Макаров, шедший с Мезен-

---

[1] См. примечание 7.

цевым и хотевший схватить меня, едва ли хорошо успел запомнить мое лицо.

— Но оно у тебя такое заметное, совсем непохожее на другие.

— Это только, когда я без шапки. А тогда я был покрыт шляпой с широкими полями. А на носу были золотые очки, конечно, с простыми стеклами.

Мы пришли в его новую квартиру, на Загородном проспекте, где нас радостно встретила Фанни. Она, очевидно, очень беспокоилась, когда он уходил, но не могла все время удерживать его дома.

— Ты нам очень нужен, — сказал Кравчинский. — Я и Клеменц, который тоже сюда приехал, с большим нетерпением ждали тебя и даже хотели тебе телеграфировать, чтобы поскорее возвращался.

— Зачем?

— «Троглодиты» хотят дать средства на издание здесь, в Петербурге, свободного журнала. Редакторами будем — ты, Клеменц и я. Это уже решено. А назвать журнал хотим «Земля и Воля».

— Почему «Земля и Воля»? Лучше бы назвать «За Свет и Свободу».

— Нет. Надо сохранить прежние традиции. Так называлось общество, в котором действовали Чернышевский и поэт Михайлов, сосланные в Сибирь. Мы будем их продолжателями.

— Но они действовали еще при крепостном праве. Тогда это название было вполне понятно, оно означало освобождение с землей.

— Этот девиз будет понятнее крестьянам, чем «Свет и Свобода».

Я не хотел спорить из-за названия и потому только спросил:

— А где будем печатать?

— В типографии, которую «троглодиты» уже устраивают. Это будет та самая типография, в которой до сих пор печаталась газета «Начало».

— Это очень хорошо! — заметил я. — Надо только поскорее устраивать типографию.

— Да! «Троглодиты» уже принялись за это.

Он вдруг словно что-то вспомнил, улыбнулся и вынул из ящика стола золотые очки.

— Вот это те самые, — сказал он, — в которых я выходил против Мезенцева. Кто знает, что с нами будет? Каждый день грозит нам вечной разлукой. Возьми их и носи на память обо мне.

Я взял у него очки, отнес в оптический магазин, где попросил вставить в их золотую оправу подходящие для моих глаз стекла. Потом я носил их все время моей заговорщической деятельности и даже в Шлиссельбургской крепости, когда Сергея уже не было в живых. Там они сломались в конце моего заточения, и теперь у меня в футляре остались лишь их обломки, да на книжной полке несколько томиков последующих литературных произведений Сергея, напоминающих мне о нем.

Такова была моя первая встреча с Кравчинским после события на Михайловской площади, взволновавшего тогда всю читающую Россию.

На следующий день, когда я пошел по обыкновению провести вечер у Малиновской, меня ждала еще одна встреча, имевшая для моей тогдашней жизни очень важные последствия. У Малиновской, среди остальных ее обычных гостей, сидела незнакомая мне молодая девушка с огромной черной, как вороново крыло, косой, красивыми серыми глазами и немного смуглым цветом лица.

Как водилось в нашей среде, я поздоровался и с нею за руку, как со знакомой, и сел к столу, подвинув себе стул почти против нее.

— А знаешь, кто это? — улыбаясь сказала мне Малиновская, показывая на нее.

— Нет.

— Это Ольга Любатович. Она убежала из Сибири с поселения по Московскому процессу.

— Как же вы убежали? — спросил я девушку.

— Очень легко! — сказала она живо. Исправник очень нас притеснял там. Он требовал, чтоб мы являлись в полицию каждый день расписываться в книге, задерживал письма, не передавал посылки. Я этим и воспользовалась. Я нарочно несколько раз угрожала ему, что он заставит меня своими преследованиями утопиться с отчаяния. А когда наступило время, я взяла с собой лишнее пальто, башмаки, шляпу и платье и, положив все это на берегу реки, уехала из города на приготовленном экипаже, распространив через оставшихся товарищей слух, что я утопилась.

— А местное начальство, — перебила Малиновская, — бросившись ее разыскивать, нашло прежде всего ее шляпку и одежду на берегу и принялось выуживать ее тело баграми вместо того, чтобы ловить.

Мы все от души расхохотались.

— И что же, вы так и доехали до Петербурга без всяких приключений?

— Почти без всяких. На одной из первых станций я встретилась с седеньким старичком, тоже ехавшим в Россию. Узнав, что я еду одна, он начал уговаривать меня взять его своим попутчиком, так как молодой девушке опасно ехать одной по нынешним временам да и дешевле ехать пополам. Я с радостью согласилась, и с тех пор все на пути принимали меня за его дочь, и я, конечно, не отвергала этого.

Она принялась оживленно рассказывать подробности своего побега. Глаза ее сверкали, она была удивительно хороша в этот момент, настоящая героиня романа, искрен-

няя, скромная в оценке своих необыкновенных поступков, и в тоже время совершенно непохожая на тех девушек и женщин, которых я раньше знал. Да, в ней было что-то особенное, героическое и вместе женственное, и это с первого же часа нашего знакомства сильно подействовало на меня.

Каждый вечер я бегал теперь к Малиновской, чтоб поскорее увидать Ольгу, успокоиться, что она не арестована, обменяться с нею мечтами о будущем. Мне стало скучно там, где ее не было. Мы быстро сближались, и я с необычным чувством счастья видел, что и она всегда старается быть там, где, по разговорам предыдущего дня, мне нужно было появиться в определенное время.

Не прошло и десяти дней после нашей встречи, как я уже не мог молчать перед нею. Во что бы то ни стало, мне захотелось сейчас же узнать свою судьбу.

Встретившись с нею снова у Малиновской и немного посидев вместе с хозяевами, я, наконец, позвал Ольгу в другую, неосвещенную комнату, где никого не было кроме нас. Мы сели рядом на диване и, держа ее руку в своей, я сказал ей:

— Знаете, мне кажется, я вас люблю...

Она молчала, не вынимая своей руки из моей. В полутьме комнаты, освещаемой лишь через открытую дверь из соседней, где раздавались звонкие голоса разговаривающей компании, я не мог разобрать выражения ее лица и глаз.

— Может быть, мне нужно уехать? — сказал я ей тихо и покорно.

— Нет! — ответила мне она и вдруг положила голову на мое плечо...

И вот мы вышли из этой комнаты как жених и невеста. И если была в ее душе хоть десятая доля того счастья, которое наполняло тогда мою, то она должна была чувствовать себя очень счастливой в этот вечер! Мы явились перед остальной компанией совсем другими, чем вышли

за час перед тем. Мы старались всеми силами никому не показывать вида о совершившейся в нас перемене, но она, повидимому, глядела из каждой черты наших лиц. Вся остальная компания инстинктивно раздвинулась и предоставила нам сидеть рядом, чего раньше никогда не делалось.

Потом я проводил Ольгу в комнату, которую она нанимала в одном сочувствующем семействе, и там мы и просидели вдвоем половину ночи.

— Давно ты полюбила меня? — спрашивал я ее.

— С первого нашего разговора.

— И я тоже.

— Если тебя арестуют, я сама прибегу и скажу, чтоб и меня арестовали, — сказала она. — Береги себя.

— Я буду беречься. А если тебя арестуют, то я тебя освобожу или погибну сам.

И мы знали оба, что каждое сказанное нами слово — была правда.

Как странна, как непохожа на любовь других была наша любовь! Меня разыскивало правительство, чтоб сослать куда-то далеко в Сибирь... Ее оно разыскивало для того же, и мы оба знали, что нас ни за что не пошлют в случае ареста в одно и то же место и, кроме того, продержат в новом заточении врозь не один год. Мы полюбили друг друга среди грозы и бури взволновавшейся русской общественной жизни, и каждый новый удар ее грозил сразить одного из нас, а то и обоих вместе. И все же нам казалось тогда, в эти первые дни, что будущее наше светло и прочно, как будто сама наша любовь должна была заслонить нас своим невидимым щитом от всех окружающих опасностей.

Но условия нашей жизни были, действительно, слишком грозны, и уже недели через две после нашего объяснения в любви нам пришлось пережить большую опасность.

НА КРАЮ ГИБЕЛИ.[1]

Всегда особенно склонный к роли оберегателя моих товарищей от повсюду поджидающих их опасностей, я старался при каждом случае потихоньку исследовать окрестности их жилищ, чтоб убедиться, не наблюдают ли за нами шпионы. Особенно заботясь о квартире Малиновской, куда часто ходила Ольга, я никогда не входил в нее, как другие, прямо с Измайловского проспекта, а проходил параллельной улицей на берег находящейся за нею речки Лиговки и, повернув назад, шел к ее дому с обратной стороны, убедившись на пустынном тогда берегу, что никто за мной не следит. А вход в дом был с переулка, т. е. с одной из так называемых «рот» Измайловского полка. Заходя таким способом с обратной стороны, я мог с ближайшего ко мне угла улицы видеть прямо перед собой, на противоположной стороне, ворота дома Малиновской, но там никогда не было ничего подозрительного, за исключением всегда сидящего у них дворника.

Вдруг, через несколько таких обходов, я увидал как раз на том месте, откуда я сам считал особенно удобным незаметно наблюдать за домом, чрезвычайно странного субъекта, тоже явно занятого этим самым наблюдением...

Он был очень маленького роста, его волосы были длинны и опущены до самых плеч; на носу, похожем на картошку, надеты очки, на голове кожаная фуражка, на плечах серое пальто, а штаны вправлены в голенища высоких охотничьих сапог. Это была настоящая карикатура на «нигилиста», как его рисовали в тогдашних юмористических журналах. Он, вздрогнув при моем внезапном приближении, быстро взглянул мне в лицо и начал смотреть в обратную сторону.

---

[1] См. примечание 8.

Чувствуя, что малейшая нерешительность возбудит его подозрения, я прямо пошел к воротам нужного мне дома, вошел на внутренний двор и явился в квартиру Малиновской. Там были уже Ольга, Адриан Михайлов, Саблин, Кравчинский и несколько других моих друзей.

— За вашей квартирой следит шпион! — сказал я Малиновской. — Нам надо прекратить здесь собрания, а вам скрыться и перейти на нелегальное положение.

— Не может быть! — сказала она. — Я всегда осматриваю окрестности, когда выхожу, но ничего никогда не видела подозрительного.

— Хорошо! — ответил я. — Я посмотрю еще раз. За себя я не боюсь. Еще в первый раз, как я пришел к вам, я нарочно спросил у дворника не номер вашей квартиры, а предыдущий по числу, рассчитывая, что он будет по той же лестнице. Оказалось, что он против вас, и там, по карточке на двери, живут какие-то Мухтаровы. Я и теперь, входя сюда перед шпионом, спросил у дворника, дома ли Мухтаровы, и он ответил, что, кажется, не выходили. Он теперь скажет шпиону на его вопрос, что я хожу к Мухтаровым, и за мной не будут следить.

Все засмеялись моей предосторожности, не подозревая, что комический нигилист был самый настоящий политический шпион.

Чтоб обеспечить и Ольгу от преследований, я, как и в прежние вечера, вышел с ней под руку, говоря ей при проходе мимо дворника какую-то шутку насчет Мухтаровых, упомянув эту фамилию достаточно громко, чтоб дворник слышал. Шпиона я уже не видел на противоположном углу.

На следующий день я встретил опять его же на Николаевском мосту через Неву, когда я шел к Адриану. Он быстро шагал мне навстречу и внимательно оглянул меня в моей землемерской фуражке, как уже известное ему лицо, и затем прошел, не оглядываясь, далее.

— И за вами следит тот же длинноволосый шпион, — сказал я Адриану, придя к нему.

— Странное совпадение, — ответил он, видимо обеспокоенный. — Но, может быть, это простая случайность.

Когда я шел обратно и проходил против квартиры Оболешева, я опять увидал того же самого маленького субъекта с рыжими усами. Но он теперь ехал уже на некрытых дрожках с другим толстым, огромного роста шпионом, с бритой, как у актера, физиономией и в мягкой ширококрылой, как летучая мышь, шляпе. Соединение обеих этих фигур в одних дрожках представляло собой нечто необыкновенно комическое, но самое скверное было то, что оба, повернувшись, оглядели внимательно окна квартиры Оболешева и вход в нее.

Я предупредил и его и настоятельно просил сейчас же бросить квартиру и переменить свою внешность. То же самое сказал я вечером и Малиновской, против дома которой снова увидел этого наблюдателя на углу, и уговаривал присутствовавших прекратить здесь собрания. Но большинство только смеялось над моим рассказом о комической шпионской паре в шарабане.

Не придала ему большого значения, повидимому, и Ольга, которую я снова отвел под руку в ее комнату в ближайшей роте Измайловского полка, а сам отправился ночевать попрежнему к Ольхину, жившему далеко, почти на другом конце Петербурга и предложившему мне пользоваться особой комнатой в его квартире во всякое время дня и ночи. Я был знаком всего лишь три месяца с этим рыжеволосым великаном с огромной бородой, напоминавшей бога Тора, но успел уже очень полюбить его за простоту и отзывчивость. Мы легли спать очень поздно, заговорившись. Думаю, что я проспал бы до двенадцати часов следующего дня, если б резкий звонок не раздался ранним утром, и ко мне в комнату не влетел, весь взволнованный,

известный тогдашний писатель и общественный деятель Анненский, знавший, что я часто ночую у Ольхина.

— Малиновская арестована сегодня ночью вместе с Коленкиной! Было вооруженное сопротивление! — проговорил он, задыхаясь от быстрого хода.

Я вскочил, как ужаленный.

— Откуда вы узнали?

— Ее кухарка — приятельница моей кухарки, и прибежала к ней рассказывать. Обеих увезли в крепость. В квартире устроили засаду. Там сидят четыре жандармских унтер-офицера в полном вооружении... Я боялся, что вы туда пойдете и прискакал на извозчике предупредить.

— А как же засада выпустила кухарку?

— Купить ей провизии в лавочке. Ее не тронули. Она ведь совсем безграмотная и так перепугалась при выстрелах, что спряталась, вся дрожа, под стул. Оттуда ее и вытащили.

— Мне надо бежать предупредить других, — сказал я, одеваясь, как попало.

Накинув пальто и свою землемерскую фуражку, я быстро выбежал из дому.

«Вдруг Ольга пойдет сейчас же к Малиновской, — думалось мне, — и будет арестована там... Или, может быть, она уже выслежена тем шпионом с длинными волосами и арестована в эту самую ночь?»

Осторожность, обратившаяся в инстинкт, не позволяла мне и здесь взять извозчика, стоявшего недалеко от квартиры Ольхина, но, выбежав на Литейный проспект, я бросился на первого попавшегося.

— В Измайловский полк! Сколько возьмете?

— Пятьдесят копеек!

— Я дам рубль, только гоните во всю мочь! Там умирает моя сестра.

Извозчик начал стегать изо всех сил лошадь, она бежала

даже вскачь, но мне казалось, что мы совсем не подвигаемся вперед. В сердце была мучительная боль, в голове была только одна единственная мысль: каждая лишняя минута, каждая секунда может привести с собой ее гибель, если только она еще цела.

— Скорее! Скорее! Скорее! — понукал я без конца своего возницу.

Вот мы проехали весь Загородный проспект, вот въехали на Измайловский, вот в переулке ее дом, и на ее окне направо выставлен знак безопасности — подсвечник, снимавшийся на ночь.

Но я все еще не верил. Сунув извозчику обещанные деньги, я побежал вверх по лестнице и, бросив на этот раз всякие предосторожности, дернул за ручку звонка.

И вот дверь отворила она сама, вся бледная.

— Ты знаешь? — спросила она меня.

— Знаю! А ты откуда узнала?

— Анненские бегают и предупреждают всех через своих знакомых.

Только теперь, видя ее перед собою живую и невредимую, я начал верить, что грозная опасность миновала ее, и на душе на одно мгновенье стало совсем легко. Но это было только на мгновение.

— Я побегу скорее предупредить Кравчинского, — сказал я.

— И я с тобой! — ответила она. — Будем в эти дни всегда вместе.

— Да, будем всегда вместе. Врозь теперь невозможно жить.

Она быстро надела пальто и шляпку. Отойдя на некоторое расстояние от дома, мы взяли извозчика и поехали на Загородный проспект к Кравчинскому. Он тоже оказался уже предупрежденным и, кроме того, знал еще многое, чего не знали мы.

— В эту самую ночь, — сказал он мне, — арестованы Адриан, Оболешев и Ольга Натансон, одним словом, все центральное бюро «троглодитов». На их окнах нет более знаков.

— Кто тебе сказал?

— Александр Михайлов, который теперь побежал как раз предупреждать вас через разных лиц, потому что квартиры Ольхина он не знает, а ты ночуешь каждую ночь в особом месте.

— Это все тот длинноволосый шпион, которого я видел, — заметил я.

— Несомненно. Но как он не проследил Ольги? Она жила ведь ближе всех к Малиновской и ходила к ней каждый вечер.

— Нас считали ходящими в соседнюю квартиру!

И я сообщил ему свою обычную предосторожность с дворниками.

Мы начали думать, кого еще надо предупредить. Почти все, постоянно ходившие к Малиновской, кроме Баха, жившего с товарищем неизвестно где, были арестованы. Как бы узнать адрес Баха? Мы долго сидели у Кравчинского и ждали. Вновь пришел Михайлов и чрезвычайно обрадовался, увидев нас целыми.

— Теперь, — сказал он мне, — надо предупредить Трощанского и Баха. Я побегу к Трощанскому, а ты зайди к Баху, но только смотри на сигнал! У него горшок цветов на правой стороне окна. Если он на левой — не входи. Он живет в нижнем этаже тоже в Измайловском полку.

Александр назвал мне роту и номер дома.

Дом был совсем близко от квартиры Ольги.

— Пойдем к тебе, — сказал я ей. — Ты останешься у себя, а я пойду предупрежу.

— Я хочу с тобой, — взволнованно, но решительно заговорила она, когда мы выходили на улицу. — Я не могу пу-

стить тебя туда одного. Там, — я знаю! — уже все арестованы, и тебя ждет засада.

— Потому-то и нельзя с тобой. Без тебя я могу убежать, отстреливаясь, в пустынные переулки, находящиеся за их квартирой. Ведь там глухая окраина, одни заборы без прохожих. Я перепрыгну через какой-нибудь и скроюсь, если пойду один, а с тобой этого нельзя. Не хочешь же ты бесполезно погубить и меня и себя!

С большим трудом удалось мне уговорить ее остаться.

— Если через час ты не возвратишься, — сказала она, когда мы вошли в ее комнату, — то, знай, я пойду туда же.

— Хорошо, возвращусь.

Она сидела и молча плакала, наклонив голову над столом. У меня сердце разрывалось от жалости к ней, но что я мог сделать? Долг требовал, немедля ни минуты, бежать с предупреждением, и я быстро вышел, простившись с нею как будто навсегда. Через пять минут я был уже в виду дома своих товарищей. При повороте в переулок я заметил группу трех городовых, и это отметилось в моей памяти как обстоятельство подозрительное, так как городовые стоят обыкновенно поодиночке на таких малолюдных окраинных улицах.

У входа в описанный мне подъезд сидел дюжий дворник. Я должен был пройти мимо подъезда, так как окна квартиры Баха в нижнем этаже были за ним, и я не мог заметить положения горшка с цветами. Дворник поднял голову, глядя на меня, а я прошел мимо него, как бы задумавшись далее. Бросив взгляд на первое из окон, я увидел цветочный горшок как раз в надлежащем месте. Окна были закрыты занавесками, и внутренности комнат не было видно.

«Повидимому, у Баха все целы», — подумал я и, внезапно остановившись, взглянул вверх и назад как человек вдруг опомнившийся от раздумья, а затем круто повернул обратно и вошел в глубину подъезда.

Мне уже сказали, что не надо было итти тут вверх по лестнице, а только пройти мимо нее в глубину до самого темного конца подъезда и там дернуть звонок у двери налево. Были ранние осенние сумерки на улицах, а в подъезде даже полная тьма, так что я должен был итти ощупью, ведя рукой по левой стене для того, чтоб нащупать дверь. Я нажал, по обыкновению, на ручку двери, она оказалась заперта. Я дернул звонок, и колокольчик сильно задребезжал внутри квартиры. В то же самое мгновение я взглянул назад на открытую дверь подъезда, казавшуюся отсюда слабым светло-серым пятном на фоне улицы, и увидел, как на этом пятне показался темный силуэт дворника, заглянувшего в глубину и быстро исчезнувшего обратно.

Снова почувствовав что-то неладное, я быстро и неслышно пробежал в своих резиновых калошах до входа. Дворник бежал, не оглядываясь, к концу переулка, где стояли городовые. Я тоже побежал, но к обратному концу до перекрестного переулка почти на том же расстоянии от дома и заметил, как из моего подъезда вышла какая-то мужская фигура и стала смотреть направо и налево, как будто ища кого-то, а с другого конца бежала небольшая группа, человек в пять. Но кто это были — городовые или просто рабочие, нельзя было узнать в сгустившемся сумраке.

Не ожидая далее, я побежал по боковому переулку и окружным путем возвратился к Ольге.

— Что-то странное, — сказал я ей и передал свои впечатления.

— Они арестованы, — решительно сказала она, — а в квартире их и на улице засада.

— Но знак стоит на месте.

— Их квартира была в нижнем этаже и легка для наблюдений снаружи. Шпионы заметили, как на ночь горшок всегда переставлялся, и поставили его утром после ареста на обычное место.

— Но я не могу ограничиться этим. А вдруг Бах и живущие с ним там пойдут теперь к Малиновской из-за того, что я убежал после звонка, не дождавшись их выхода? Может быть, из подъезда выходил кто-нибудь из них? Каково нам будет жить, если это случится? Если их арестуют?

— Да, — сказала она, — надо снова итти, но теперь уже вместе. Я умру с отчаянья, оставшись здесь второй раз одна.

— Тогда пойдем. Но мне надо переменить свою внешность. Дворник меня уже видел в моей землемерской фуражке.

В комнате у Ольги хранилась часть запасной одежды моих товарищей. Я взял оттуда более теплое пальто, шляпу-цилиндр и дождевой зонтик. Она надела свое прежнее пальто, и мы с нею вышли под ручку на улицу в виде чиновника, идущего в гости со своей женой. Было уже совсем темно и, к нашему удовольствию, начал моросить мелкий октябрьский дождик, позволивший нам раскинуть зонтик и этим скрыть черты своих лиц.

На перекрестке теперь не было ни одного городового, но, когда мы подошли поближе к подъезду, на лавочке у него сидел уже не один дворник, а еще двое вооруженных городовых, и вся эта компания поднялась со скамьи при нашем подходе.

— Экая грязища, — сказал я Ольге, достаточно громко, чтобы они слышали, — а итти нам осталось чуть не полверсты. Хоть бы градоначальник обратил внимание на состояние тротуаров.

— Да, — ответила она, — хоть бы добраться только!

С этими словами мы прошли мимо поджидавшей нас засады, пропустившей нас, вероятно, только потому, что она не решилась остановить на улице чиновника с супругой из-за того одного, что им нужно было итти по пустынной окраине, мимо дома, где произведен политический арест.

Было бы лицемерием с моей стороны и сильной неправдоподобностью сказать, что мне не чувствовалось жутко в момент прохождения перед шестью дюжими лапами, уже протянувшимися к нам, да и рука Ольги, продетая в мою, сильно прижалась ко мне в этот критический момент.

— Видел? — сказала она, когда мы уже достаточно ушли и, повертывая в боковой переулок, увидели, что нас никто не преследует. — А квартира за занавесками освещена!

— Видел. А ты видела, что горшок с цветами стоит на своем надлежащем месте?

— Да.

— Надо переменить систему сигналов, эти более не годны.

Когда мы вновь пришли к Кравчинскому, туда вбежал, весь возбужденный, Александр Михайлов.

— Как дела у Баха? — спросил он меня прежде всего.

— Арестованы.

Я быстро рассказал ему о сигнале и о своем двукратном путешествии.

— Вы оба счастливо отделались, — проговорил он. — А у меня-то что вышло!

Он махнул рукой.

— Что такое?

— Подхожу я к квартире Трощанского по противоположной стороне улицы. Там горит лампа, как обыкновенно, и знак безопасности переставлен после ночи на надлежащее место. Вхожу и звоню. Дверь отворяет жандармский унтер. «Здесь,—говорю,—живет модистка?» —«Здесь, здесь, пожалуйте!» — отвечает он. — Что мне было делать? Я знаю, что никакой модистки тут не живет, что она этажом выше. «Нет, — говорю, — я ошибся квартирой, она непохожа на ту, куда я хожу. Это, очевидно, выше!» — А тут еще выскочили два других городовых: «Пожалуйте, — говорят, —

господин, мы вас должны отвести в участок, там разберут!» «Зачем в участок?» — спрашиваю. — «Нечего, — говорят, — разговаривать. Поведем его, Василий, а Федоров и Павлов пусть сторожат еще!» — И вот двое из них повели меня по лестнице. Выходим на улицу. Тут как выхватил я свой никелированный наручник, да как блесну им у них перед самыми глазами! Оба заорали в страхе и отскочили в сторону. А я бросился бежать по переулку! «Держи его, лови!.. — закричали они, пустившись за мной. — Стой, стрелять будем!» — А я увидел перед собой забор дровяного двора, припрыгнул, схватился обеими руками за его верх, и — откуда только сила взялась! — в один миг перескочил на другую сторону! Слышу, они кричат за забором, тоже хотят перепрыгнуть, но обрываются, а я бегу дальше к противоположному концу большого двора, сплошь уложенного рядами дров, бревен и тесу. Злющая собака напала на меня, а я, отмахиваясь от нее своим кастетом, добежал до противоположной стороны, там снова перескочил на заднюю улицу, в которой не было ни души. По ней я вышел уже на людные улицы, сел на извозчика и поехал сюда.

Мы все слушали его рассказ как сказку...

«Да, — думал я, — вот началась она, настоящая деятельность, с борьбою, с опасностями, с приключениями! Кто победит теперь? Гражданская свобода или политический абсолютизм? Свет свободной науки или принудительная тьма старинного неведенья? Нам нанесли тяжелый удар, выхватив из нашей среды половину товарищей. Сомкнем же за ними ряды!»

— Знаешь? — сказал мне Кравчинский, как бы угадывая мои мысли и отведя Ольгу и меня в другую комнату. — Я теперь уже давно формально член их тайного общества.

И он указал на комнату, в которой оставил Михайлова.

— «Троглодитов»? — воскликнул я, повторяя непроиз-

вольно кличку, данную Клеменцом этому кружку, по причине неизвестности квартир его членов никому постороннему.

— Да. В программу его входят: деятельность в народе путем пропаганды, агитации и боевая деятельность на равных правах с народническим способом пропаганды. — Хочешь войти и ты?

— Да! — ответил я решительно. — Ведь кружок, основанный нами после освобождения из заключения, теперь рассеялся, и я свободен, а «троглодиты» мне всегда очень нравились.

— А вы хотите? — обратился он к Ольге.

— Тоже хочу.

— И Перовская согласна! — дополнил Кравчинский. — Значит, ряды пополнены!

Мы все трое возвратились обратно.

— Они присоединяются к нам! — громко сказал Кравчинский остававшемуся в комнате Александру Михайлову.

Тот подошел к нам, крепко пожал обоим руки и поцеловал меня.

— Теперь, — сказал он, улыбаясь, — вам нужно только прочесть наш устав и дать слово подчиняться ему. Вас обоих мы уже давно голосовали без вашего ведома и единогласно решили принять, как только вы выразите согласие. Но я вас предупреждаю, что устав требует от всякого входящего отдать в распоряжение общества всю свою жизнь и все свое имущество.

— Это и хорошо! — ответил я за нас обоих.

— Итак, — сказал Кравчинский, — отныне нет более «троглодитов!» Мы в память Чернышевского и его погибших в Сибири товарищей будем называться, как и наш журнал: «Земля и Воля»!

П. ПОВЕСТЬ ВОСЬМАЯ

«ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ»

Посвящается Ксане

АРХИВ «ЗЕМЛИ И ВОЛИ».

Я уже не помню всех параграфов устава и правил революционной организации «Земля и Воля», явившейся теперь издательницей одноименного нашего свободного журнала. Помню, что там, кроме основного пункта «отдать обществу всю свою жизнь, имущество и все свои силы», были многие другие параграфы. Так, было правило о приеме новых членов. Они предлагались тремя старыми членами и утверждались большинством голосов. Было также правило и о выходе из общества не иначе, как с согласия остальных товарищей и с обещанием навсегда держать в безусловной тайне все, что пришлось видеть или слышать во время общей деятельности.

Все члены пользовались полным товарищеским равноправием на общих собраниях и осведомлялись на них об общем ходе деятельности общества и о его ближайших целях. Это считалось необходимым потому, что «действующий во тьме не может относиться с полным энтузиазмом и энергией к тому, чего он не знает и в необходимости чего не убежден».

Однако, если какой-нибудь группе лиц поручалось определенное дело, то она должна была вести его сама, не сообщая подробностей посторонним товарищам. В таковом положении была, напр., новоустроенная типография. Она была поручена Крыловой, Грязновой, Баху и «Абрамке», очень симпатичному юноше, фамилии которого не знал никто. При устройстве ее они получили запрещение сооб-

щать ее адрес кому бы то ни было. Даже сообщаться с редакцией они должны были, приходя к нам на квартиры, а не приглашая нас к себе.

Так типография и держалась в величайшем секрете.

Аналогичным образом и каждая другая группа, которой поручалось вести какое-либо ответственное дело, сейчас же должна была замыкаться в себе и давать товарищам лишь общие объяснения о ходе своего предприятия, сохраняя внутри себя все детали, особенно *где*, *кем* и *как* исполняется порученное.

Зато по окончании возложенной задачи сообщались общему собранию все подробности дела.

Общество «Земля и Воля», которое, как я уже сказал, с этого времени перестало называться в публике «троглодитами» и приняло окончательно имя своего печатного органа, было немногочисленно, как и подобает быть всякому серьезному тайному обществу, основанному на строгом подборе членов. К нему принадлежали, кроме меня, Александра Михайлова, Адриана Михайлова, Кравчинского, Квятковского, Зунделевича и других, еще Плеханов, Попов и Лизогуб, который после ликвидации «Большого общества пропаганды» был одним из основателей этой новой группы и отдал в ее распоряжение все свое имущество, достигавшее нескольких сот тысяч рублей.

Я живо вспоминаю, как очень скоро попал в хранители всех интимных документов этого Общества.

Однажды в один из тех осенних туманных вечеров, когда почти не видно уличных фонарей, и головы извозчичьих лошадей появляются при переходе улицы прямо у вашего носа, ко мне пришел Александр Михайлов.

— Здравствуй! — сказал он. — Ты должен немедленно подыскать место для хранения нашего архива.

— Почему ты обращаешься именно ко мне? — спросил я.

— У тебя много знакомых среди либералов и солидных общественных деятелей. А устав и документы надо хранить в безопасном месте.

Я подумал несколько минут.

— Может быть, — сказал я, — можно обратиться к...

— Нет, нет! — перебил Михайлов, — ты не должен говорить никому место хранения, за исключением одного человека, способного заместить тебя в случае твоего ареста.

— А вдруг арестуют обоих сразу?

— Это мало вероятно. Впрочем, на такой случай ты дай указания и своему хранителю, чтоб он обратился к тому или другому из либералов, ближе знающих нашу группу. А сам хранитель должен стоять совершенно в стороне от всего подозрительного для наших врагов.

Озабоченный таким важным поручением, я пошел прежде всего к своему новому другу, присяжному поверенному Ольхину.

— Не укажете ли мне такое лицо, которому можно было бы поручить хранение очень важных тайных документов?

— Поручите мне.

— Нельзя. Вы слишком близко соприкасаетесь с нами. Надо такого человека, которого, кроме меня и вас, не знал бы никто из действующих лиц.

Он думал несколько минут. Потом вдруг воскликнул, ударив по столу своей тяжелой ладонью.

— Зотов!

— Кто этот Зотов?

— Старик семидесяти лет, секретарь газеты «Голос». Он верный человек и стоит в стороне от всякой революционной деятельности.

— Так можно сейчас же пойти к нему?

Ольхин взглянул на часы.

— Самое время! Он теперь дома. Это на углу Литейного и Бассейной в доме Краевского, совсем близко отсюда.

Мы быстро отправились и, придя на Бассейную, вошли в подъезд углового дома, швейцар которого поклонился Ольхину как привычному посетителю. Молоденькая горничная в белом фартучке приветливо отворила дверь вслед за нашим звонком и впустила нас в огромную переднюю, в углу которой стояло чучело бурого медведя на задних лапах. Все стены ее были уставлены от пола до потолка полками с тысячами книг в старинных переплетах. Лишь ближайшая к двери часть стены была уделена под вешалки для платья посетителей.

— Дома Владимир Рафаилович?

— Дома, в кабинете, — ответила горничная.

— Без посетителей?

— Да.

— Так я сначала один пройду к нему, — сказал мне Ольхин, когда горничная повесила наши пальто и шапки, — а вы пока подождите в гостиной.

Он указал мне дверь в большую комнату со старинной мебелью и хорошими картинами в золотых рамах по стенам. Пожилая дама вышла из внутренних комнат почти тотчас же после моего входа туда и, любезно ответив на мой поклон, прошла к выходу.

«Верно, его жена», — подумал я и не ошибся.

Через несколько минут возвратился и Ольхин.

— Зотов согласен, — сказал он мне. — Но вы об этом поговорите с ним наедине, когда я временно уйду.

Ольхин провел меня по полутемному коридору, тоже сплошь уставленному книгами, в самую отдаленную комнату большой квартиры, где находился в своем рабочем кабинете и сам хозяин. Это был высокий, худой старик, весь в морщинах, без зубов, с ввалившимися в рот губами, что особенно ясно обнаруживалось, благодаря его крошечным, едва заметным усам и редкой бородке из нескольких десятков волосков. Только живые, голубовато-серые, ум-

ные, хотя уже немного выцветшие, глаза показывали, что в этом старческом теле живет деятельный, неподдающийся времени дух.

— Здравствуйте, здравствуйте! — сказал он мне шепелявым голосом, встав при моем приближении и крепко пожимая мою руку. — Рад познакомиться с представителем современных революционных деятелей. Часто теперь читаешь в газетах про ваши дела. Удивляешься. Со времени декабристов еще не было у нас ничего подобного.

Он, что-то вспоминая, улыбнулся старческой, но живой и ясной улыбкой.

— Мог ли подумать Александр Сергеевич, что на том самом месте, где он говорил мне, что революция в России начнется разве через двести лет, будет сидеть ее представитель всего лишь через сорок лет после его смерти?

— Какой Александр Сергеевич? — спросил я.

— Да Пушкин! — совершенно просто ответил он.

— Вы знали Пушкина? — с изумлением спросил я.

— А как же не знать? Очень хорошо! И Лермонтова знал, и Гоголя, и Кольцова, и Никитина, и многих других. Они часто забегали провести вечерок у моего отца, а потом некоторые и у меня, за чаем и за всякими разговорами.

Мои глаза и рот раскрылись от изумления. Мне показалось, как будто какая-то невидимая нить протянулась от них ко мне из глубины прошлого и связала меня с ними. Это было просто удивительно! Пушкин, Лермонтов, Гоголь и я имеем общего знакомого!

И он тоже, уйдя в прошлое, где остались его самые яркие воспоминания, говорил мне о них всех как о живых, как о присутствовавших только вчера в этой самой комнате, и совершенно забывал, что они все умерли задолго до того, как я появился на белый свет!

— А с Герценом вы тоже были знакомы? — спросил я, подходя к более поздним временам.

— Конечно! — воскликнул он. — Вы не читали сборников «Русская запрещенная поэзия», изданных в его лондонской типографии?

— Читал за границей. Там находятся запрещенные стихи Пушкина, Лермонтова и многих других поэтов.

— Да, да! — воскликнул он. — Почти все это было собрано мною в России и мною же отвезено Герцену для напечатания.

Ольхин, улыбаясь, слушал наш разговор. Его взгляд как бы говорил мне:

— Видите, какого хранителя я вам подыскал!

Затем он простился и окончательно ушел, прося Зотова не провожать его.

Оставшись со мной наедине, Зотов сейчас же перешел к делу.

— Ольхин рассказал мне все о вас. Трудно было вам сидеть три года в одиночном заключении?

— Сначала очень, но затем, когда у меня появилась возможность читать и заниматься, стало лучше.

— Ольхин говорит, что вы поэт, и что вам принадлежат некоторые стихотворения в сборнике «Из-за решетки»?

— Да, — скромно ответил я.

— Я прочел весь сборник, там много истинной поэзии.

Он вдруг встал и снял со своей полки изящно переплетенную книжку.

— Вот, — сказал он мне.

Это был, действительно, наш сборник.

— А вон там, — прибавил он, показывая на верхние полки, — полная коллекция всех нелегальных изданий.

— Но ведь вас за них по нынешним законам пошлют на каторгу, если найдут!

Он засмеялся.

— Нисколько! У меня есть разрешение от цензуры. Я библиофил, коллекционер книг и историк. Мне без них

нельзя работать. Пожалуйста, сейчас же доставляйте мне все, что у вас выйдет, а я в благодарность буду хранить ваши тайные документы. Когда вы их принесете?

— Можно завтра?

— Когда угодно приходите ко мне, лучше всего в это время.

Так было устроено тайное хранилище уставов «Земли и Воли», а затем и «Народной Воли». Никто о нем не знал, кроме меня да Ольхина, а потом Александра Михайлова. Я один приносил и уносил отсюда документы и все остальное, тщательно следя за собою при уходе и приходе. Здесь в двух кожаных портфелях хранились, кроме уставов, нужные письма и печать Исполнительного комитета, прикладывавшаяся к посылаемым предупреждениям, печати разных петербургских полицейских учреждений для заготовления русских и заграничных паспортов, а затем, когда нам удалось устроить нашего товарища Клеточникова секретарем Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии, сюда же приносились мною и списки имен всех шпионов, с характеристикой деятельности каждого.

Потом, когда через года два «Народная Воля» погибла, доступ к этому хранилищу прекратился. Зотов умер, когда я был заключен в Шлиссельбургской крепости, его имущество перешло к наследникам, не обнаружившим в нем никаких тайных документов. Куда все это спрятал Зотов, так и осталось до сих пор никому неизвестным. Перед моим последним арестом он мне говорил, что в случае опасности увезет портфели к себе на дачу и там зароет их под беседкой в садике. Но где его беседка? Где его садик? Лежат ли там еще мои портфели со всеми документами или давно сгнили, — об этом никто не может рассказать в настоящее время...

КУДА ПРИВЕЛА УЛЕТЕВШАЯ В ВЫСОТУ КАЛОША.

Кончался ноябрь месяц. На петербургских улицах стоял мглистый туман, мостовые были покрыты грязью, в которой по временам завязали калоши. Особенно испытал я это на себе, когда шел вместе с Кравчинским к Клеменцу на редакционное собрание, для выпуска в свет второго номера «Земли и Воли». Из осторожности мы путешествовали не рядом. По временам он шел впереди на несколько десятков шагов, чтобы я мог видеть, не следят ли за ним, а по временам я сам обгонял его, и он делал относительно меня свои наблюдения. Таким образом, как два коня на шахматной доске, мы взаимно защищали друг друга от всех опасных фигур.

Но, защищенные друг другом от шпионов, мы все же не были защищены от простых случайностей.

Прежде всего, переходя опасный перекресток Невского и Садовой, где, как я знал, находится постоянный пост тайных уличных агентов Третьего отделения, я, сосредоточив все свое внимание на людях, едва не попал под копыта рысака, испугавшегося чего-то и наскочившего прямо на меня, как раз в то время, когда я перебирался по мостовой через прослойки жидкой грязи.

Услышав сбоку дикий человеческий крик и еще более дикое ржание лошади, я в трех шагах направо увидел мчавшегося прямо на меня огромного черного коня. Еще секунда, и я был бы в грязи под ним и под экипажем. Инстинктивно я прыгнул, как кошка, вперед. Одна моя калоша осталась под лошадью в грязи, другая, сорвавшись с моей быстро взброшенной ноги, сначала полетела почти вверх на необыкновенную высоту, — мне показалось не ниже крыши противоположного дома! Перелетев, таким образом, через всю улицу, она упала на шляпку проходившей по тротуару дамы. Дама завизжала, а я почувствовал

мягкий удар упруго выгнутой оглобли в свою спину, который только придал еще более скорости моему прыжку. В одно мгновение пустой шарабан мелькнул мимо меня, рысак повернул вкось, сбил извозчичью пролетку, а потом врезался грудью в угол Гостиного двора, где несколько извозчиков подхватили его под уздцы и остановили.

— Ловко отделались! — сказал мне любезно высокий толстый субъект с актерской физиономией. — А я думал вас непременно раздавит.

Я взглянул. Передо мною стоял тот самый толстый шпион, которого я видел перед арестом Малиновской едущим в шарабане вместе с маленьким, длинноволосым, выследившим всех ее гостей, кроме меня.

— Да, — ответил я с веселым видом. — А где же мои калоши?

— А вот первая! — указал он мне пальцем на один экземпляр моей обуви, завязший как лодочка в грязи. — А другая, — прибавил он, — только-что свалилась с головы вон той дамы, которая обтирает теперь платком грязь со своей шляпки.

— Вижу! — сказал я.

Осторожно ступая по грязи, я добрался сначала до своей увязшей калоши, которая, к моему удивлению, проскользнула между колесами экипажа и осталась чистою внутри, а затем пошел к даме и, извиняясь, начала надевать свою вторую калошу, лежащую у ее ног.

— Едва не попал под лошадь! — сказал я ей в свое оправдание.

Но она все еще не могла успокоиться и сказала мне кисло:

— Можно было бы поплотнее носить калоши, чтоб не летали по улицам на головы людей. Теперь моя шляпа совсем испорчена.

Кравчинский, услыхавший сзади крики и шум и увидавший, как я выскочил из-под лошади, бросился ко мне.

— Что, тебя не расшибло оглоблей?

— Нет! Нисколько! Лишь толкнуло в спину.

Толстый шпион снова подошел к нам и старался ввязаться в разговор.

— Возмутительно! Мчатся во весь дух на рысаках! Чорт бы побрал всех этих капиталистов. Пьют кровь из простого трудящегося народа. Пора разделаться с ними. Довольно!

Экспансивный по натуре Кравчинский уже готов был с ним разговориться и дать ему итти за нами, как будто попутчику, но в это время взгляд шпиона упал на какого-то молодого человека студенческого вида, прошедшего мимо нас, и он отвернулся, всматриваясь в него.

Я предупредительно дернул Кравчинского за рукав, бросив красноречивый взгляд на спину субъекта.

— Пойдем, надо нам спешить, — сказал я, таща его. — Шпион! — шепнул я ему тихо. — Он, верно, видел нас близ дома Малиновской.

Мы быстро пошли на Михайловскую площадь. Оглянувшись, как бы на прошедшую мимо нас даму, я увидел, что и он также быстро идет за нами в некотором отдалении. Мы прошли мимо Инженерного замка на набережную, перешли у цирка через Симеоновский мост, а субъект все шагал за несколько десятков шагов. Получив снова предлог оглянуться у самого подхода к Литейному, я вновь его увидел на том же расстоянии.

— Не отстал! — говорю Кравчинскому.

— Далеко?

— Шагов за сто!

— Вот идет конка, — сказал Кравчинский, — как только мы зайдем за угол, побежим и сядем.

— Хорошо!

Свернув обычным шагом за угол, мы погнались за конкой. Густая толпа прохожих не давала нам бежать по тротуару,

и мы выскочили на мостовую. Тут Кравчинский поскользнулся на грязи, и в то время, как он делал сальтомортале, чтобы удержаться на ногах, его большой стилет-кинжал выскочил под его легким пальто из своих ножен и со звоном покатился по камням мостовой. Кравчинский быстро схватил его, спрятал себе за пазуху под удивленными взглядами толпы и сделал вид, как будто все это так и должно было произойти. Но конка тем временем уехала далеко, и гнаться за ней было бесполезно.

— Пойдем в Саперный переулок, — сказал он мне, — это близко. В нем есть дом, у которого через подъезд можно выйти на задний двор, а из него уйти на следующую улицу, прямо на городской рынок. Там арки, и под ними всегда толпы народа. Шпион там затеряет нас.

Так мы и сделали. Шпион, не отстававший от нас до самого подъезда, вероятно, остался ждать нашего обратного выхода или пошел справляться о нас у дворников, а мы тем временем ехали уже далеко от него на извозчике к Клеменцу.

— Всегда запоминай проходные дворы и подъезды! — сказал мне Кравчинский.

— Михайлов уже показал мне несколько в различных частях города, — ответил я. — Через них очищаешься лучше, чем, помнишь, невской водой перед приходом к тебе.

Он засмеялся, вспомнив свою старую квартиру.

— Не рассказывай о нашем приключении Фанни, — предупредил он меня, — а то она будет приходить в отчаяние каждый раз, когда я выйду без нее на улицу.

— А ты не рассказывай Ольге.

Клеменца мы застали в несколько возбужденном состоянии.

— Ну и развелось же этих шпионов на улицах в последние дни, — сказал он при виде нас.

— А что такое?

— Вчера один увязался за мною в первом часу ночи, когда я выходил от знакомых, и даже насчет моего отъезда на извозчике он принял меры. Идет за мной, а извозчик едет тихо за ним в нескольких шагах.

— Как же ты отвязался от него ночью? — спросил Кравчинский.

— А очень просто. Вышел по Мойке на Невский, там все магазины заперты, зайти некуда, иду дальше. Вдруг вижу, один табачный магазин еще открыт. Я туда. «Дайте, — говорю, — пачку папирос». Купил, поговорил нарочно подолее о погоде. Выхожу, а он тут, ждет на тротуаре и курит папироску. — «Позвольте закурить?» — говорю я ему, вынимая одну папиросу из пачки. — «Извольте-с!» — говорит, — но вместо того, чтобы подставить свою папироску, быстро вынимает коробку спичек из кармана, чиркает одну и подставляет мне, чтоб разглядеть мое лицо при свете. «Ах, ты подлец», — думаю, и иду далее. А он все за мной, и извозчик попрежнему за ним. Как, думаю, отвязаться ночью? Все дома заперты! Если бы за ним не ехало уже готового извозчика, я взял бы какого-нибудь, стоящего одиноко, и уехал бы раньше, чем он добежал до другого. А тут у него уже есть свой. Вдруг вижу — идет ночная дама. «Позвольте, — говорю, — вас проводить!» — и подставляю ей колесом руку. — «Извольте!» — говорит. Только-что я это сделал, слышу треск извозчичьих колес сзади, оглядываюсь, а он уже сел в свою пролетку и едет на ней назад, верно, опять торчать у подъезда или просто домой. Сразу убедился при виде такого поступка в моей политической и моральной благонамеренности. Через минуту и след простыл!

— Но как же ты расстался с ночной дамой? — спросил я.

— А очень просто! — проводил ее по Невскому до Литейного. «Ко мне, — говорит она, — направо!» «А ко мне, —

отвечаю я, — налево! Значит, до свидания!» — и, поклонившись самым вежливым образом, пошел от нее.

— А она что же?

— Раскричалась на меня на всю улицу. «Нахал! Негодяй!» А потом начала меня отчитывать такими непечатными словечками, что даже городовой на противоположном углу проснулся и закричал: «Что тут за скандал?» — «Обиделась, — говорю ему, — что я не хотел провожать ее дальше Литейного». И я сейчас же уехал домой на извозчике.

— И за нами сейчас увязался один с угла Невского и Садовой, — сказал Кравчинский, позабыв наш уговор молчать.

— Это все нашу типографию ищут. Вся тайная полиция поднята на ноги. Говорят, свыше велено, во что бы то ни стало, разыскать хоть типографию. «Нельзя, — говорилось в одном «высоком» месте, — поверить, что в столице, где содержится столько тайной и явной полиции, издаются, неизвестно где и кем, и повсюду распространяются не только прокламации, но даже целые периодические журналы!» Новый шеф жандармов отвечал, что не успокоится, пока не разыщет. Надо теперь держаться очень осторожно, а тебе, — обратился он к Кравчинскому, — лучше всего временно уехать за границу. То же и Ольге, — обратился он ко мне.

— Я не поеду, — решительно ответил Кравчинский.

— Но это необходимо на некоторое время. При современных тревожных обстоятельствах ты мало здесь полезен.

— А журнал?

— Ты будешь в нем сотрудничать и за границей, а подбор посторонних статей можешь доверить нам. Ты видишь сам, какое огромное впечатление произвело твое выступление против Мезенцева на площади, именно благодаря тому, что тебя до сих пор не могут найти. Если тебя арестуют, три четверти значения твоего дела пропадет! Вот почему я уже несколько дней обдумывал все и пришел к решительному выводу, что тебя надо на время удалить за границу.

— Но если меня здесь и арестуют, то не узнают, что это сделал я.

— Ты думаешь? Ну, нет!

— Ни прохожие, ни полковник, шедший с начальником Третьего отделения, меня не узнают в лицо.

— А содержатель татерсала, где находится Варвар? Ведь у Трощанского при аресте нашли счет за его содержание в татерсале, и, явившись туда, жандармы убедились, что это та самая лошадь, на которой ты уехал.

Кравчинский задумался.

— Да, тебе надо уезжать! — присоединился и я к мнению Клеменца.

И вот затем на общем собрании наличных членов «Земли и Воли» было решено отправить Кравчинского и Ольгу за границу. Оба не хотели ехать, но мы, остальные, потребовали этого от них как первого доказательства повиновения уставу. Волей-неволей обоим пришлось подчиниться. Кравчинский был отправлен на следующий день. Ольга дня через три. Она горько плакала, прощаясь со мною, а у меня на душе была такая тупая боль, как будто меня снова посадили в одиночное заключение.

Я проводил ее на вокзал Варшавской железной дороги и долго смотрел, как паровоз, пыхтя и извергая снопы искр, увез ее куда-то во мрак непроглядной осенней ночи, казалось, спустившейся и на мою душу. Но я знал, что это было неизбежно.

ВЫСТРЕЛ НА УЛИЦЕ.[1]

Небольшой мороз наступил внезапно в Петербурге после долгой оттепели. Он украсил серебристыми иглами деревья Летнего сада, превратив все их ветки в пушистые белые лапки.

[1] См. примечание 9.

Я шел среди этого серебристого тумана по главной аллее в направлении от заиндевевшей Невской набережной к Инженерному замку, где трагически погиб когда-то император Павел I.

Надо мною было слегка мглистое, кой-где голубоватое, кой-где белесоватое зимнее северное небо, с южной стороны которого смотрел на меня большой красный глаз, низко висевший над горизонтом и окруженный на некотором расстоянии большой светлой дугой. Он освещал своим розоватым светом волшебную картину всеобщего обледенения. А я, тоже покрытый белым пухом на приподнятом воротнике своего пальто, старался представить, что живу на какой-то новой планете, где деревья растут с серебристыми иглами вместо наших зеленых листьев, а чуждое нам солнце вечно розовое. Но вскоре возвратился к мыслям о своей реальной жизни, где тоже все было так необычайно и непохоже на жизнь остальных людей.

Я думал, что в этот час дня я легче всего застану Михайлова, которого мне хотелось увидеть, в Измайловском полку, у студентов, но его там не оказалось. Вместо него я нашел несколько других товарищей, сильно возбужденных произведенными в ту же самую ночь многочисленными арестами в радикальных студенческих кружках. Все говорили, что этого нельзя более оставлять безнаказанным, и необходимо тотчас же отомстить новому начальнику «Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии», заведывавшего тогда политическими дознаниями и арестами.

Взволнованный всем слышанным и напрасно прождав здесь прихода Михайлова до позднего вечера, я решил, наконец, сам итти к нему на квартиру. Я вышел в туманную черную мглу, сменившую волшебную картину окончившегося дня, незаметно наблюдая, по привычке, не идет

ли за мной какая-нибудь подозрительная личность. Но никого не было сзади.

Было одиннадцать часов вечера — совсем еще не поздно по петербургским нравам, и потому я нисколько не удивился, когда, войдя к Михайлову, застал у него стройного и красивого молодого человека с изящными аристократическими манерами, вставшего при моем приходе.

— Мирский, — сказал мне Михайлов, рекомендуя мне эту новую для меня личность.

Мы поздоровались за руку и сели.

— Я только-что выпущен из заключения, — сказал мне Мирский, как только Михайлов сообщил ему, что при мне можно продолжать начатый им разговор. — Меня возили вчера к Дрентельну, новому начальнику Третьего отделения, и я вынес заключение, что он еще вреднее прежнего — убитого Мезенцева. Все бесчисленные обыски и аресты последних дней руководились непосредственно им. Вы сами понимаете, что нельзя ничем не реагировать на гибель стольких товарищей.

— Да, — согласился я.

— Мирский отлично ездит верхом и хочет стрелять в него на улице, — сказал мне Михайлов. — Надо будет выследить, когда Дрентельн выезжает с докладами.

— А где же вы найдете хорошую верховую лошадь? — спросил я, нисколько не удивленный его словами, так обычными в разгаре нашей тогдашней борьбы с абсолютизмом.

— В татерсале. Мирский возьмет сначала для проформы несколько уроков, а потом будет выезжать ежедневно на прогулки по городу на лучших из татерсальских скакунах, оставив залог, чтобы не давали сопровождающего мальчика. А затем, в удобный час, в удобном месте он и встретит Дрентельна.

— Так будет всего лучше, — согласился Мирский и, взглянув на часы, начал прощаться с нами.

— Чрезвычайно смелый и решительный человек, — сказал мне Михайлов, как только он ушел. — У него здесь невеста, Лилиан-де-Шатобрен, с которой тебе необходимо познакомиться. Она из аристократического круга и может доставлять нам очень ценные сведения.

— Она молодая?

— Да, лет девятнадцати и очень хорошенькая. Но это завтра, а теперь давай-ка лучше спать.

Но мне плохо спалось в эту ночь. Перед моими глазами то стояла черная, сырая, непроглядная мгла с расплывавшимися в ней огоньками отдаленных фонарей, в которой скрылся несколько дней назад поезд, увлекший от меня Ольгу и разлучивший нас, казалось, навсегда, то рисовались бледные лица товарищей, заточенных в политических темницах, то возникали картины всевозможных подвигов в начавшейся неравной борьбе за гражданскую свободу.

На следующий день, как только стало смеркаться, я и Михайлов пошли с визитом к Лилиан-де-Шатобрен.

Нас провели сначала в большую залу, увешанную бронзовыми люстрами и картинами в золоченых рамах, потом в одну из гостиных, затем в другую и, наконец, ввели в голубой будуар, где на кушетке с вытянутыми на ней ножками, в изящном костюме, полулежала молодая девушка с тонкой талией и с французским романом в руке. Не поднимаясь, она лениво протянула свою ручку Михайлову, который затем представил ей меня. Мы оба осторожно пожали ее ручку, не прикладываясь к ней, хотя выдержанный здесь стиль французского двора конца XVIII в. и требовал того, а затем, подвинув к ее кушетке два низенькие пуфа, обитые голубой материей, сели перед ней, положив локти рук на свои колени, как два доктора перед постелью больной, и начали разговор прямо с сути дела.

— Значит, вы нам сочувствуете? — спросил Михайлов.

— Да, очень! — ответила она.

Мы помолчали, как бы обдумывая важность сказанного. Наконец, Михайлов многозначительно посмотрел на меня, говоря своим красноречивым взглядом: «да поддержи же разговор!»

Я начал речь о том, какое хорошее впечатление произвел на меня Мирский, и как я неожиданно познакомился с ним вчера. Разговор с отвлеченных идей перешел на более легкую тему о лицах: кто, где, когда и почему видел впервые того или другого, и как потом продолжалось их знакомство.

Нам подали кофе в хорошеньких крошечных фарфоровых чашечках, и мы через полчаса распрощались.

— Разве может такая изнеженная барышня быть серьезной заговорщицей? — спросил я Михайлова, как только мы очутились с ним на улице.

— Конечно, нет, — ответил он. — Но она может быть очень нам полезна своими связями в придворных сферах.

— Не думаю. Для всякой деятельности нужен внутренний огонь и сила. А здесь специально выработанная воспитаньем слабость. У меня нет на нее никакой надежды.

— Ты слишком строг, — сказал он, смеясь.

Но по его физиономии я видел, что и он не ожидал от нее ничего, кроме пассивного сочувствия.

— А между тем Мирский боготворит ее, — сказал он мне, — и кто знает, не ее ли чисто романтический восторг перед Кравчинским внушил ему идею сделать то же самое. Удивительно и своеобразно иногда сказывается женское влияние на нашем брате. Немало героических дел совершалось для прекрасных глаз, хотя бы они украшали и таких изнеженных телом и духом особ, как ты представляешь себе эту.

Мне показалось, что в данном случае Михайлов мог быть прав, хотя бы и отчасти. Мирский произвел на меня впечатление рыцаря турниров при первой моей с ним встрече.

Мы подошли к Цепному мосту, где находилось

Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии.

— Вот первое место моего заточения в Петербурге, — сказал я Михайлову, показывая на здание. — Тогда я был еще очень наивен и думал, что здесь мне будут вытягивать жилы и рвать из пальцев ногти.

— И верно ты тогда не представлял себе, — прибавил он со своей приветливой улыбкой, — что через четыре года будешь ходить около него тайным часовым. Мы ведь с Мирским сегодня утром решили просить и тебя понаблюдать за временем выездов Дрентельна и ты, конечно, не откажешь? Так все меняется на свете. Будут, наверно, и более крупные изменения в русской жизни, только нами ли они будут сделаны или на наших костях?

— На наших костях! — ответил я без колебаний, хотя еще и не подозревал, что через три года эшафот унесет большинство моих теперешних друзей.

— Все равно, — ответил мне Михайлов. — Нами или на наших костях произойдут перемены к лучшему. Ты начинай теперь их подготовлять!

Мы перешли через Цепной мост к Инженерному замку. Там было мало газовых фонарей, и потому на набережной Фонтанки, отделявшей нас от входа в дом Третьего отделения, где жил Дрентельн, стоял почти полный мрак. Сзади на некотором расстоянии от нас высилась темная мрачная громада Инженерного замка, в котором почти восемьдесят лет тому назад был задушен император Павел I. Перед нами поднимался ряд жиденьких, лишенных листьев деревьев, окаймлявших набережную, на которой мы стояли. Прямо передо мной была черная во мраке ночи вода оттаявшей Фонтанки, в которой смутно отражались огни фонарей и освещенных окон у домов противоположного берега. И над всем этим с темного, слегка красноватого от зарева фонарей неба, густо и медленно падали

большие мокрые хлопья снега, прикрывавшие белыми шапками наши цилиндры, в которых мы тогда ходили по улицам, чтоб нас принимали за чиновников.

Впечатление картины получалось таинственное и зловещее, словно сейчас из романа. А между тем это была действительность.

— Видишь напротив нас на той стороне Фонтанки подъезд, с боков которого горят два фонаря?

— Вижу.

— Это его подъезд. Ходи тут и наблюдай за ним. Все интересное для нас записывай по часам и минутам. Особенно, если подадут его карету. Сейчас же отметь время, куда поедет и, если нужно, возьми извозчика и вели ему ехать за ним, сказав, что ты из сыскного отделения.

— Хорошо.

— Через два часа я тебя сменю, — окончил он и, пожав мне руку, скрылся во тьме.

Я начал неспешно ходить взад и вперед вдоль набережной Фонтанки, начиная от Цепного моста и уходя настолько далеко мимо Инженерного замка, насколько было можно для того, чтобы не терять из виду подъезда, на который я взглядывал время от времени через реку.

... Мой взгляд вдруг упал на карету, подъехавшую к подъезду, за которым я наблюдал. Были видны в полутьме только силуэты ее лошадей и кучер на козлах, да ярко светились два фонаря.

«Уезжает куда-то!» — подумал я и посмотрел на свои часы.

Было четверть седьмого.

«Велел приготовить к половине седьмого, — догадался я. — Можно еще походить минут десять».

И я прошелся еще раз вдоль всей моей дистанции.

На возвратном пути я увидел еще новое изменение на противоположной стороне. На некотором расстоянии от

кареты, почти у входа в соседний дом, остановился шарабан, запряженный высокой, явно рысистой лошадью. Из него вышел господин в шубе, но, вместо того, чтобы войти в дом, начал прохаживаться взад и вперед по тротуару, не отходя далеко от своего экипажа.

— Что это значит? — с любопытством приглядывался я, еще не отдавая себе отчета.

Парадная дверь третьеотделенского дома открылась, и выбежавший швейцар усадил кого-то в карету. Она двинулась к Цепному мосту, у которого я остановился недалеко от дежурившего городового. Я увидел, как, вслед за посадкой в карету начальника Третьего отделения, сел в свой шарабан и замеченный мною господин, и его кучер безо всяких разговоров поехал вслед за каретой на расстоянии около сотни шагов.

Мне стало сразу все ясно.

«За ним следят и помимо меня!» — подумал я, и потому, вместо того, чтоб нанимать стоящего поблизости извозчика и ехать третьим в этой свите, я пошел пешком по направлению к Михайловской площади. Отметив, что карета отправилась именно туда, я возвратился обратно ожидать Михайлова, который явился почти тотчас вслед за моим возвращением к Цепному мосту.

— Ну что? — спросил он, подходя ко мне.

— Уехал куда-то через Михайловскую площадь в половине седьмого.

— Во дворец, — догадался Михайлов. — Больше некуда по этому направлению. У него, должно быть, в этот день еженедельный доклад в восемь часов вечера. Надо проверить через неделю. А почему ты не поехал за ним?

— Потому что за ним уж и без меня ехали!

— Кто?

— Его собственный шпион, больше некому!

И я, смеясь, рассказал ему о господине в шарабане.

— Это усложняет дело! — заметил он серьезно.

— Почему? Рысак в шарабане никогда не догонит хорошую скаковую лошадь.

— Но у этого господина может быть в кармане огнестрельное оружие. Впрочем, надо еще убедиться, действительно ли за ним всегда ездят.

— Прощай, — сказал я Михайлову, не дождавшись обратного возвращения кареты.

— Прощай! покойной ночи, — ответил он.

И я пошел домой, а он остался во тьме, под крупными хлопьями сырого крутящегося снега, новый часовой на страже Грядущей Свободы.

Мой дом в это время был недалеко от Фонтанки. На углу Литейного проспекта и Пантелеймоновской улицы возвышалось огромное шестиэтажное здание, где, в большом флигеле внутреннего двора, жил известный публицист того времени, бывший редактор газеты «Северный Вестник», Корш. Он уже давно приглашал меня всегда приходить к нему ночевать или даже тайно поселиться в его большой квартире, под видом его помощника, живущего особо, но часто принужденного обилием дел оставаться у него на ночь. Я так и сделал.

Все это оказалось чрезвычайно легко и просто. Возвращаясь домой после начала моих ночовок, Корш несколько раз спросил у швейцара: «пришел ли мой помощник?» Швейцар назвал меня так дворникам, и потому никого не удивляло, что каждый день я приходил и уходил из этого дома. Никому не приходило даже и в голову наблюдать, ночую я здесь или ухожу к себе домой, тем более, что черная лестница квартиры Корша выводила на другой двор этого огромного здания, и я всегда мог выйти на Литейный проспект, а не на Пантелеймоновскую улицу, куда вел парадный вход.

На ночь мне приготовляли постель на мягком диване

в столовой, а для того, чтобы я мог писать статьи или редактировать чужие произведения для нашего печатавшегося в тайной типографии журнала «Земля и Воля», мне предоставлен был рабочий кабинет Корша, за исключением трех часов, когда он принимал в нем своих клиентов. В этом кабинете происходили время от времени и совещания всех, следивших за выездами Дрентельна, медленно устанавливавшие, в какие дни и часы он обязательно выезжает в те или другие постоянные места.

Мирский тем временем практиковался в верховой езде в татерсале и как искусный наездник вскоре получил там для прогулок по городу самую быструю из скаковых лошадей. Один раз, проходя по Морской улице в те часы, когда там толпится фешенебельное общество, я видел его проезжающим, под видом молодого денди, на стройной, нервной английской кобыле. Он был очень эффектен в таком виде, и все светские и полусветские дамы, медленно проезжавшие в эти часы в своих открытых колясках, заглядывались на него в свои лорнеты.

Моя прирожденная общительность и способность чувствовать себя одинаково легко как в роскошных салонах, так и в студенческой комнате, как с расфранченными дамами, так и со скромными курсистками, привела к тому, что мои товарищи, большинство которых выросли в скромной обстановке и чувствовали стеснение в пышных залах, начали направлять меня к «либералам», т. е. к пассивно сочувствовавшим нам «людям с положением», всякий раз, когда приходилось иметь с ними дело, и таким образом незаметно специализировали меня в этой области.

«Он действует среди либералов», — говорили обо мне, как говорили, что мой товарищ Плеханов «действует среди рабочих».

Либералы же нам были по временам очень нужны. Так, у известного историка литературы Зотова я держал на

сохранении устав «Земли и Воли» и все необходимые документы. На имя своего теперешнего хозяина — Корша я устроил текущий счет в банке для наших расходов. Другие «либералы» доставляли нам ценные сведения о действиях высшей администрации, на адрес третьих получались наши письма, у четвертых происходили различные конспиративные собрания. Все они сочувствовали исключительно *политической* (а не социальной) части нашей деятельности и были готовы помогать нам лишь постольку, поскольку мы способствовали расшатыванью абсолютизма в России.

А так как борьба с произволом была и моя главная задача, то мы очень хорошо ладили друг с другом, а, главное, «либералы» мне почему-то особенно доверяли. Они были убеждены, что я не подведу их под суд какою-нибудь неосторожностью и не выболтаю никому о наших тайных сношениях.

Михайлов часто заходил ко мне на квартиру Корша и сообщал о ходе предприятия Мирского. Тот уже раза два выезжал навстречу Дрентельна, вооруженный тем самым револьвером-медвежатником, который был приобретен во-время моего первого визита к доктору Веймару для освобождения Войнаральского, а потом фигурировал и в других делах. Но каждый раз условия встречи казались Мирскому неподходящими, и он проезжал мимо кареты.

В тот день, о котором я хочу рассказать, я писал в кабинете Корша какой-то рассказ для «Земли и Воли», как вдруг ко мне почти вбежал Михайлов.

— Все кончено! — сказал он, слегка задыхаясь. — Полчаса назад Мирский стрелял в Дрентельна!

— Он спасся?

— Кто?

— Конечно, Мирский!

— Да. Он ускакал, но спасся также и Дрентельн. Мирский не попал в него.

— Наверное?

— Я сам был на месте встречи. Ходил по тротуару поблизости. Мирский дал его карете проехать мимо себя, потом догнал ее и выстрелил в окно через стекло. Его лошадь, непривычная к стрельбе встала на дыбы и готова была понести, но он ловко повернул ее назад и поскакал к Литейному проспекту. Городовые и часть прохожих погнались было за ним, но, конечно, сейчас же остались далеко позади.

— А сам Дрентельн?

— И у него лошади сначала понесли, но кучер быстро их сдержал. Дрентельн сначала отворил дверку кареты, как бы готовясь выскочить, но, увидев, что лошади успокоились, и что Мирский ускакал по Пантелеймоновской улице, велел повернуть карету и погнался за ним.

— А где же был его шпион на рысаке?

— Я не видел. Он, кажется, умчался прочь с испугу. Сев на первого свободного извозчика, я велел ему гнаться за каретой Дрентельна между бежавшими городовыми и дворниками, кричавшими: «Лови ! держи!» Я все время не отставал от него. Наконец, вижу городового, который стоит, держа под уздцы лошадь Мирского. Мы почти одновременно подъехали к нему. — «Где же всадник?» — спрашивает он. — «Не извольте беспокоиться, ваше высокопревосходительство, — прорапортовал молодецки городовой. — Они совсем не ушиблись. Когда лошадь поскользнулась при повороте и упала, они очень ловко соскочили на землю». — «Ну, и что же потом?» — спросил Дрентельн. — «Потом они отдали мне уздцы и говорят: подержи, братец, я пойду поправиться и ушли вот туда, за угол». — «Дурак! — сердито крикнул ему Дрентельн. — Этот человек в меня стрелял, это Мирский, я его хорошо знаю в лицо, его надо было сейчас же арестовать! Куда он пошел?» — Тут они оба бросились в переулок: Дрентельн в растворенной карете,

городовой с лошадью, а я за ними на извозчике между всей собравшейся толпой. Видим, в переулке никого нет. Генерал разнес еще раз сконфуженного городового, велел ему вести лошадь Мирского в Третье отделение, а сам повернул назад, строго сказав нам: «Расходитесь, расходитесь, господа!»

— А где же теперь Мирский? — спросил я.

— Сидит у меня целехонек! Завернув за угол, он сначала не знал, что делать, и, войдя в первый попавшийся табачный магазин, спросил пачку папирос. Затем, сообразив, что тут его сейчас же найдут, он вышел, сел на первого извозчика и велел ему ехать через Литейный мост. Потом отпустил извозчика и пришел ко мне.

— Его надо как можно скорее отправить из Петербурга, — сказал я, сильно встревоженный. — Ему опасно здесь оставаться, раз Дрентельн его узнал.

— Да! — ответил он. — Я и сам так думаю. Ему теперь нельзя более показываться днем на петербургских улицах.

— Пусть пока сидит у тебя, а затем я дам тебе адрес какого-нибудь из моих либералов, у которого безопасно будет посидеть, пока пройдут первые поиски во всех отходящих из Петербурга поездах.

— Хорошо, — ответил он, — а пока пиши скорее прокламацию об этом событии. Надо отпечатать ночью и завтра утром уже рассылать.

— Через час будет готова, — поспешно ответил я. Это была тогда моя специальность. Принесу тебе показать.

— Мирский, — сказал он, собираясь уходить от меня, — прежде всего хотел повидаться со своей невестой, Лилиан-де-Шатобрен. Я думаю, что это теперь не безопасно, но надо устроить. Я немедленно отправляюсь к ней.

Через три часа, с готовой прокламацией, я вошел в квартиру Михайлова. Там на диване полулежал Мирский, все

еще в своем спортсменском костюме, и поигрывал своим хлыстиком.

Он замечательно хорошо владел собою. Никому и в голову не пришло бы, глядя на его беззаботный вид, что он только-что стрелял в главу грозного политического сыска и едва не сломил себе шеи при падении своей лошади.

При уходе от него я узнал и еще одну новость. Михайлов, вышедший вместе со мной, чтоб отнести прокламацию в нашу тайную типографию для печати, сказал мне:

— Можешь себе вообразить, Лилиан-де-Шатобрен, для прекрасных глаз которой, по твоему прежнему мнению, пошел на такую смертельную опасность Мирский, до того перепугалась, узнав о покушении, что с ней сделался припадок истерики, и родные уложили ее в постель. Нечего было и думать теперь об устройстве их свиданья. Она, вероятно, никогда на него не решится. Тревоги действительной жизни не так-то легко переносятся, как тревоги читаемых на кушетке романов.

ОН ОКАЗАЛСЯ НЕСПОСОБЕН БЫТЬ ПОЛИТИЧЕСКИМ СЫЩИКОМ, НО ИЗ НЕГО ВЫШЕЛ ПРЕКРАСНЫЙ СЕКРЕТАРЬ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО СЫСКА...[1]

Среди десятков лиц, рисующихся в моем воображении, мне особенно вспоминается теперь одно скромное, смуглое, худощавое с черными волосами и такой же бородкой. Это был Клеточников, служивший на юге в земстве, но бросивший все и приехавший в Петербург предложить себя в полное распоряжение тех невидимых деятелей, дела которых загремели вдруг на всю Россию. Он приехал к своим знакомым курсисткам, жившим в том же доме на Песках, где жил и мой друг Грибоедов, но только вход к ним был с другого подъезда. Курсистки эти, не помню уже через

[1] См. примечание 10.

кого, послали за Михайловым или мною, говоря, что нас желает видеть один из их знакомых, очень серьезный и верный человек.

Мы оба пришли вместе и после четверти часа общего разговора были предупредительно оставлены девушками наедине с приезжим.

— Я хотел бы принять участие в каком-нибудь опасном предприятии, — сказал нам Клеточников совсем простосердечно.

Михайлов задумался.

— Пока мы ничего такого не можем вам предложить, — сказал он. — Надо немного выждать. А вот не согласились бы вы оказать нам очень ценную услугу. Здесь есть одна подозрительная дама. Она содержит меблированные комнаты и не сдает их никому, кроме учащейся молодежи, говоря, что любит молодость и ее идеалы, а, между тем, редко кто доживает у нее до конца зимы, не будучи арестован или сослан. Все это очень подозрительно. Как раз на днях там были арестованы две курсистки, и они пишут нам контрабандой из тюрьмы, что, судя по допросам, никто другой не мог их выдать, кроме слащавой хозяйки. Не можете ли вы на время поселиться у нее и понаблюдать за нею?

— Очень охотно! — ответил Клеточников, и, взяв адрес Кутузовой, как называлась подозрительная дама, он на следующий же день как будто случайно поселился у нее в освободившейся, благодаря аресту, комнате.

Так просто и малообещающе началось одно из важнейших дел «Земли и Воли». Целых две или три недели, казалось, не было никаких результатов от усилий Клеточникова приобрести откровенность хозяйки, но ее симпатию получил он очень скоро и притом таким незамысловатым способом, что нам потом было смешно даже вспомнить.

Кутузова была страстная любительница поиграть в карты,

непременно на деньги, и, вдобавок, жадна до малейших выигрышей. Заметив ее слабость, Клеточников каждый вечер резался с ней в карты, несмотря на страшную тоску от такого глупого занятия, и проигрывал ей рубля по два, притворяясь волнующимся и удивляющимся ее счастью и ловкости.

Скоро вечер, проведенный без ее вечного партнера, стал ей казаться нестерпимым, а заметивший это Клеточников все больше и больше стал выражать сожаление, что даром приехал в Петербург, так как обещанного ему места в здешнем земстве, повидимому, совсем не удастся получить.

— Еду обратно в провинцию, — начал заявлять он ей каждый вечер. — Здесь и дух-то у вас всех какой-то либеральный, не по мне. Даже вот и вы, серьезная и умная женщина, а все же сочувствуете этим разбойникам!

Она же всегда защищала нас.

Наконец, проиграв ей как-то сразу десять рублей, он сказал:

— Нет! Кончено! Прощайте! Завтра же еду в Новочеркасск. Рассчитаемся! Сколько я вам должен за квартиру?

— А что если бы я вас устроила? — таинственно заметила Кутузова, будучи не в силах перенести мысли, что из ее рук вырвется такой жилец.

— Но где же вы можете? — спросил он. — Ведь у вас нет знакомых, кроме этих стриженых курсисток, с которыми мне противно даже встречаться.

— А может быть и есть?

— Где же?

— Вот вы так не любите курсисток, а у меня племянник служит начальником всего тайного политического сыска при Третьем отделении. Хотите, я отрекомендую вас ему? — проговорилась она, оставив свой прежний либерализм.

— Надо подумать, — ответил он, как бы не решаясь.

Так была достигнута Клеточниковым цель, для которой он, собственно, и приехал к Кутузовой: разоблачение ее связи с тайной политической полицией...

С торжеством пришел он на следующий день к своим друзьям-курсисткам, жившим «на Песках», где уже поджидали его Михайлов и я, и рассказал нам весь этот разговор.

— Что же теперь мне делать? — спросил он нас. — Теперь я исполнил поручение. Она выдала себя.

— Вам надо не упускать случая познакомиться и с ее племянником, — сказал решительно Михайлов.

— Но он пригласил меня шпионить? Не могу же я для приобретенья его доверия донести на кого-нибудь!

— Об этом, конечно, не может быть и разговору. А вот нельзя ли будет кому-нибудь из наших играть роль поднадзорного, чтобы он сам писал на себя доносы и передавал через вас?

— А вот у меня есть товарищ по гимназии, Ребиков, — сказал Клеточников, — у которого был недавно обыск и который каждый день ждет, что его вышлют. Ему, пожалуй, было бы даже удобно, чтобы, вместо немедленной высылки, за ним следили до весны, когда он выдержит в университете последние экзамены и сам уедет.

И вот произошло нечто поразительное, возможное только при тех мрачных общественных условиях, при которых мы тогда действовали. Когда мы через неделю пришли снова на свиданье с Клеточниковым, он заявил нам:

— Все улажено. Можете себе представить: мое предложение следить за Ребиковым упало на него как манна небесная! Он очень просил меня следить за ним и обещал сам диктовать мне по способу Шехерезады в «Тысяче и одной ночи» самые интригующие доносы на себя, вплоть до окончания своих выпускных экзаменов. Я прямо от него возвратился к Кутузовой и сказал ей, что хотя предложенное мне дело и слишком для меня беспокойно, но

положение мое такое безвыходное, что приходится согласиться.

— А она что?

— Вы не можете даже и представить, какое хищное выражение появилось вдруг в лице у этой слащавой ведьмы! Казалось, что на пальцах у нее вдруг выросли когти, и она говорила всеми своими чертами: «попался, теперь держу тебя!»

— Даже заочно страшно! — сказал полушутливо Михайлов.

— На другой день, — продолжал, тоже улыбаясь, Клеточников, — она пригласила к себе на карты своего племянника, лысого, бритого, усатого чиновника и познакомила меня с ним, называя его Гусевым.

Гусев подозрительно взглянул на меня, стараясь скрыть свое недоверие под любезной улыбкой.

— Это тот самый, о котором я тебе так много говорила, — пояснила ему Кутузова.

Тот ничего не ответил. Напился чаю, поиграл часа два с нами в карты, все время наблюдая потихоньку за мною, а перед ужином сказал:

— У вас есть знакомые с противоправительственными взглядами?

— Только один Ребиков, — ответил я.

— Да, знаю, мы за ним уже давно следим сами. А еще есть?

— Решительно никого. У меня нет других знакомых в Петербурге.

— Жалко. Но все же я вам положу на первый раз рублей тридцать жалованья в месяц. Тетка уж очень упрашивает меня. Можете вы поселиться вместе с Ребиковым, чтобы нам избавиться от необходимости держать для слежки за ним двух агентов?

Я страшно обрадовался такому предложению, так как

жить долее в квартире этой старухи мне стало невыносимо противно. Но она так и вцепилась в меня, доказывая, что мне нет никакой нужды переезжать. Племянник с ней спорил, но видно было, что она имеет на него какое-то неведомое мне влияние. Верно он ожидает от нее наследство, и потому я постарался примирить их, говоря, что вечера все равно буду проводить у нее.

Так у нас с Гусевым и было условлено. Теперь я и Ребиков уже поселились вместе. Я под видом сыщика, а он под видом подозрительного субъекта, за которым я слежу. Все доносы на себя Ребиков будет сочинять, конечно, сам и обещал мне представлять самые занимательные небылицы.

Так началась поразительная деятельность Клеточникова в Третьем отделении.

Чтоб придать некоторую правдоподобность действительности выслеживанья, он условился со своим товарищем, что каждый раз, как выходит какая-нибудь наша прокламация, или появляется номер «Земли и Воли», он будет относить по экземпляру Гусеву на его тайную квартиру, куда приходят шпионы со своими доносами, и говорить, что получил их от своего сожителя. На вопросы Гусева, кто их дал Ребикову, Клеточников отвечал, что его товарищи в университете, имен которых он пока не мог добиться, но надеется узнать при удобном случае. Несколько раз Клеточникову предлагали наблюдать, не бывает ли у его приятеля кто-либо из нас и показывали наши фотографии, но он сообщал, что никого похожего не встречал.

— Гусев очень разочарован мною, — сказал он нам однажды, уже через месяц после своего знакомства с ним. — «У вас, — говорит, — к сожалению, не обнаруживается, знаете, такого настоящего нюха. Из вас едва ли выйдет хороший агент». — Боюсь, что скоро он предложит мне искать более подходящее для меня место, потому что и к Кутузовой я уже не в состоянии приходить играть в карты

более двух раз в неделю. Страшно противна. Вам надо поскорей пропечатать ее, чтобы она не ловила более в свои сети молодежь.

— Это было бы пока бесполезно, — ответил ему Александр Михайлов. — Она стала бы сдавать комнаты под другой фамилией. Лучше знать ее современную квартиру и предупреждать всех, попадающих на нее, кроме неинтересующихся политикой, как мы теперь и делаем.

— А вам не удалось познакомиться на тайной шпионской квартире Гусева со шпионами? — спросил я.

— Нет! Там у каждого свой час. Избегают давать возможность разным шпионам встречаться друг с другом, чтоб не сговорились в ложных доносах.

— Надо установить слежку за входом в эту квартиру, — сказал Михайлов. — Тогда мы узнаем, бывает ли там кто-нибудь из встречающихся с нами.

— Да, это будет полезно, — сказал Клеточников. — Моя карьера у Гусева, кажется, заканчивается, и через месяц он окончательно признает меня неспособным к такому занятию. Мой сожитель принимает все меры, чтоб интересовать собою Гусева еще месяца два, но кажется, и его удочка перестала действовать. Как бы его не выслали до окончания экзаменов.

Так мы и расстались с Клеточниковым, думая, что начатое нами предприятие само собой ликвидируется, как вдруг произошло нечто неожиданное и для нас, и для него самого.

У Клеточникова был замечательный каллиграфический почерк. При чтении чего-либо написанного им казалось, что каждая его буква была жемчужинкой. Ровно, ясно, отчетливо вырисовывалось всякое слово его письма, как будто печатный курсив, и я невольно любовался им, когда читал его сообщения. Вот это-то обстоятельство и повернуло вдруг судьбу Клеточникова совершенно в новом направлении.

Гусев тоже обратил внимание на необыкновенную отчетливость и красоту его почерка и нашел, что Клеточников самый подходящий человек, чтобы составлять резюме всех шпионских доносов для ежедневного представления начальнику Третьего отделения, тем более, что думал сделать этим приятное и Кутузовой, наследником которой он был.

— Вы, — сказал он в один прекрасный день Клеточникову, — совершенно неспособны к слежке. Я вам дам лучше должность младшего секретаря в моей тайной канцелярии. Бросьте агентуру и приходите завтра с десяти часов на вашу новую должность. Я пока оставлю в покое и этого вашего сожителя, чтобы не возбудить против вас подозрений.

Можно себе представить, с каким душевным облегчением рассказал Михайлову Клеточников о своей новой должности!

— Теперь от меня не потребуется никаких доносов, — говорил он, — а только резюмированье чужих, причем, я буду писать два экземпляра каждого резюме: первый для вас, а только второй для шефа жандармов!

Так все и вышло, благодаря его умышленным проигрышам Кутузовой в карты и его жемчужному почерку. Старший секретарь — лентяй, как и все чиновники Третьего отделения, — сейчас же взвалил на Клеточникова целиком свою работу, а сам совершенно перестал что-либо делать, бегая по кафе-шантанам и ресторанам. Необыкновенное усердие, хороший слог бумаг и исключительная аккуратность Клеточникова сразу сделали его необходимым лицом в центральной канцелярии политического сыска. Ни один донос не миновал его рук. С первых же дней Михайлов, которому мы предоставили одному сноситься с Клеточниковым, чтобы как-нибудь не погубить его случайною неосторожностью, начал приносить мне почти ежедневно листки со шпионскими доносами. Я или Михайлов отда-

вали их прежде всего Софии Ивановой переписывать, оригиналы тотчас уничтожали, чтоб не подвести Клеточникова, и затем я нес копии в свой тайный архив у Зотова.

МЫ ПОПАДАЕМ В БЕЗВЫХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

В несколько недель накопилось у меня с десяток тетрадей самых тайных политических доносов, и я читал в них такие перлы нелепостей, что только разводил руками, изумляясь невежеству и легковерию наших политических врагов. Но время от времени там вдруг появлялись сообщения, которые тотчас заставляли нас бить тревогу и спешно принимать предупредительные меры. Особенно щекотливо оказалось наше положение, когда Клеточников принес Михайлову в первый раз список двадцати лиц, представленный Гусевым шефу жандармов для производства у них обыска и ареста, если на их квартирах окажется что-нибудь нелегальное.

— Как тут быть? — спрашивал Михайлов, собрав у меня на квартире нескольких посвященных в дело товарищей. — Все указанные лица нам совершенно незнакомы. Это студенты и курсистки разных учебных заведений. Насколько можно положиться на их скромность?

— Но их все же необходимо предупредить, — сказал Квятковский. — Не можем же мы, зная за три дня, что им грозит большая опасность, смотреть равнодушно?

— Конечно, — сказал Михайлов. — Но как предупредить их? Послать по почте письма нельзя, перехватят. Отнести лично предупреждения на бумажках — тоже нельзя: кто-нибудь из них, вместо того, чтоб уничтожить сейчас же нашу бумажку, побежит показывать ее товарищам как любопытный таинственный документ, и она скоро попадется.

— Нельзя ли мне обойти их всех лично, по адресам? —

предложил я. — Я скажу им на словах: не держите у себя ничего нелегального, на днях у вас будет обыск! А затем сейчас же уйду, не давая никаких дальнейших объяснений.

— Нельзя! — сказал Михайлов. — Тебя многие знают в лицо по процессу ста девяносто трех, а вот мне, Квятковскому и Баранникову, это будет удобно.

Они распределили между собою адреса и тотчас же разошлись, а через три дня Клеточников сообщил нам и о результатах их предупреждения.

— Относительно обысков все благополучно, — сказал он. — Ничего не нашли ни у кого из заподозренных и потому никого не арестовали, но все-таки в одной квартире обитательницы (и он назвал трех курсисток) сделали очень неприятную браваду. Жандармский офицер сегодня донес шефу жандармов, что при его входе молодежь встретила его смехом и словами: «милости просим, мы вас ждем уже вторую ночь!» У них, конечно, потребовали объяснения, откуда они узнали об этом обыске, грозя немедленным арестом, и те, испугавшись, сказали, что их предупредило неизвестное лицо. Теперь у нас большая суматоха: шеф прислал своего адъютанта к Гусеву для негласного дознания, кто мог бы это сделать. Гусев очень встревожен и сказал мне, что знали об этом, кроме его самого и шефа, только я да курсистка, предложившая ему, по бедности, свои услуги и донесшая, что у ее товарок хранится нелегальная литература. Я сделал вид полного недоуменья и сказал ему, что видно это сделала сама донесшая, раскаявшись и испугавшись последствий своего дела. «Да, — сказал он, — так иногда бывает... Все же тут что-то странное, совершенно непонятное для меня. Кто бы это мог быть?» И он ушел, разводя руками от изумления и повторяя: «странно, очень странно!» Боюсь, что мое секретарство теперь окончено.

Мы разошлись в этот вечер в большом унынии. Целую неделю мы ждали результатов дознания об обнаружившейся

течи в Третьем отделении собственной его императорского величества канцелярии. Клеточников в эти дни не являлся к нам совсем.

Наконец, он пришел торжествующий и веселый, насколько позволяла его всегда сдержанная физиономия.

— Все окончилось благополучно! — сказал он. — К счастью моему, шпионка, донесшая на тех болтливых курсисток, оказалась всего месяц на службе, и это был ее первый донос. Сегодня утром она явилась снова, и Гусев вышел к ней вместе со мной. Он был страшно зол и потому набросился на нее с первого же взгляда, как собака: «Что это вы издеваться вздумали над нами?» — закричал он на нее, топая ногами. Та совершенно растерялась и даже вдруг села на стул, словно в чем-то виноватая. Вид у нее был страшно жалкий. Это совершенно убедило Гусева в ее вине. — «Вон отсюда, вон! И чтоб нога ваша не была более у меня!... Пойдемте! — сказал он мне. — Не стоит более разговаривать с этой фальшивой женщиной. Выведите ее!» — приказал он служителю. И мы ушли, не сказав с ней более ни слова. Я убежден, что Гусев повел меня к ней, чтобы сделать очную ставку, но убедился в ее ненужности. А до тех пор я был фактически отстранен от составления тайных отчетов. Всю неделю старший секретарь мне поручал подводить разные канцелярские счета, не имеющие никакого интереса. А теперь я уже снова получил доверие переписывать политические доносы и между ними доклад самого Гусева шефу жандармов, что произведенное им исследование вполне выяснило дело: «сама доносчица предупредила курсисток и за то уволена им от дальнейшей службы».

Мы вздохнули свободно, услышав это, и принялись обсуждать новое положение.

— Наша система таинственных предупреждений незнакомых нам людей по маловажным поводам, — сказал Михайлов, — показала свою несостоятельность. Надо пре-

дупреждать теперь только лиц, нам известных, а остальных лишь в тех случаях, когда по содержанию доноса у них могут найти что-нибудь важное, грозящее для них судом и каторгой или явной по крайней мере административной ссылкой.

Как мне ни грустно было это ограниченье, но волей-неволей приходилось согласиться с ним. Невозможность всеобщего охранения сочувствующих нам лиц, рисовавшегося сначала в самых увлекательных красках в моем воображении, стала очевидной и для меня.

И вот, вновь к Михайлову, а затем и ко мне в архив, почти ежедневно стали стекаться листочки с изложением всего, что делалось в центральной тайной канцелярии политического сыска. Мы видели из этих листков, как десятки шпионов рыскали, так сказать, вокруг нас, в примыкающих к нам сферах, но никак не могли до нас добраться, как будто окруженных непроницаемым для них волшебным кругом. Странно было читать, как эти шпионы, проникая на разные собрания учащейся молодежи, слышали там разговоры, среди которых то-и-дело попадались наши собственные фамилии. И чего только об нас ни говорили в среде тогдашней молодежи, каких только удивительных подвигов, знаний и приключений не приписывала нам юная фантазия окружавших! И трогательно было, а по временам смешно и жалко, что самые пылкие выражения сочувствия получались нами через прорвавшуюся воронку «Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии», которое нас ловило!

Но вскоре начали мы получать еще и другие интересные сведения.

Необычное усердие Клеточникова привело к тому, что Гусев предоставил ему вести и тайные счетные книги, в которых выдавалось жалованье шпионам, а следовательно их полные имена и фамилии, с какого времени они служат, какое жалованье получают и какие им были выданы наград-

ные деньги за особые услуги, вместе с кратким изложением последних! Политических шпионов оказалось в Петербурге около трехсот человек, большею частью среди рабочих, затем в молодежи, а несколько, получавших особенно большое жалованье и имевших титул «советников», вращались в либеральном обществе, и между ними был редактор одной петербургской бульварной газеты.

Все это составило несколько толстых тетрадей, из которых в каждый номер «Земли и Воли» выбирались для опубликования два-три лица, становившиеся слишком вредными для нас или либерального общества.

— Хорошо бы напечатать, — сказал я раз на собрании петербургских товарищей, — весь список целиком, чтобы вымести хоть на время из Петербурга эту нечисть!

— Невозможно, — ответил Михайлов. — Тогда ликвидируют сейчас же Гусева, а с ним и весь состав его канцелярии, и заведут новых шпионов. А у нас теперь начались такие важные дела, что иметь глаз в самом центре своих врагов нам очень важно. Будем каждый месяц публиковать двух-трех и тогда, мало-по-малу, справимся и с остальными.

Как это ни грустно было, но пришлось и мне согласиться с его мнением, тем более, что в то время не было никаких деятельных заговорщиков в России, кроме нас. А между тем работа нашего немногочисленного, но деятельного тайного общества развертывалась все шире и шире.

ЗАПАДНЯ [1]

Мы пришли с Клеменцом к Грибоедову, у которого я давно не был, так как квартира его считалась заподозренною властями. У него мы встретили знакомого нам молодого студента, распространявшего «Землю и Волю» среди учащейся молодежи.

---

[1] См. примечание 11.

— С вами очень желает познакомиться только-что приехавший из Москвы рабочий Рейнштейн, — сказал он нам обоим. — У него есть приятель, машинист на Московской железной дороге, согласный перевозить в Москву какое угодно количество «Земли и Воли» и притом во всякое время.

— Это очень хорошо! — сказал Клеменц, потирая с удовольствием руки.

— Но только Рейнштейн желает непременно видеть кого-нибудь из редакторов.

Клеменц сразу насторожился.

— Зачем ему надо непременно редактора.

— Говорит, что очень нужно.

— Так назовитесь ему сами редактором, и делу конец! — сказал Клеменц. — А потом расскажете, чего он от нас хочет.

— Я лучше попрошу об этом одного моего приятеля, Остафьева, — ответил тот и, получив согласие, сейчас же ушел. Затем и мы разошлись, смеясь, и ни у кого из нас не появилось даже и предчувствия, что перед нами здесь разверзалась бездна.

Разыгравший роль редактора, студент Остафьев получил от Рейнштейна незначительную рукопись и передал ее нам, сказав, что Рейштейн не сообщил ему ничего важного, кроме адреса кочегара на одном из товарных паровозов, ходящих между Петербургом и Москвою.

Прошли недели две полного покоя, в продолжение которых я продолжал жить в качестве помощника присяжного поверенного Корша в большом доме на углу Литейного проспекта и Пантелеймоновской улицы. Вдруг, раз, в четвертом часу ночи, раздался сильный звонок у парадной двери моей квартиры. Корш в одном белье выбежал со свечой в руке из своей спальни в столовую, где на мягком диване была устроена мне постель, и я уже давно находился в ней.

— Слышите? — с испугом сказал он мне.

— Слышу. Должно быть, обыск.

Я схватил мой портфель и привязал к нему длинный шнурок.

— Затушите свечку! — быстро воскликнул я.

Он задул ее, и мы остались в ночной тьме.

Я побежал босой к одному из окон, открыл форточку и спустил портфель во мрак за окно, зацепив второй конец шнурка за верхний шарнир, на котором поворачивалась форточка. Портфель мой сразу очутился висящим за окном. Снаружи его не было видно во тьме, а изнутри трудно было заметить конец шнурка. Тем временем звонки из-за двери повторялись все громче и чаще, и прислуга выбежала отворять дверь.

— Я буду говорить, что вы мой помощник, оставшийся ночевать, — сказал мне Корш.

— Здесь Полозов? — раздался голос из передней, как только прислуга отворила дверь.

— Здесь! — ответила горничная.

Полозов — это была фамилия, под которой я вращался тогда в обществе.

— Мне нужно его сейчас же видеть, — сказал пришедший, в котором я с облегчением узнал по голосу своего приятеля Луцкого, отставного морского офицера.

— Я здесь! Идите сюда! — крикнул я ему с постели.

Он вбежал сильно встревоженный.

— Ваша тайная типография арестована сегодня, в двенадцать часов ночи. Найдены типографские станки, — много номеров «Земли и Воли». Все обитатели квартиры под сильным конвоем препровождены в Петропавловскую крепость, а в типографии устроена засада. Очень просят сейчас же предупредить редакцию, чтобы не ходили туда. Очень просят предупредить всех редакторов немедленно.

— Кто просит?

— Сообщивший известие.

— Кто же он?

— Полицейский чиновник, недавно поселившийся в меблированных комнатах рядом с Остафьевым или где-то в другом месте, я хорошо не помню. Он, возвратившись в час ночи, рассказал все это, прибавив, что засада ждет редакцию, которая по полицейским сведениям соберется там сегодня в семь часов утра. Вот почему Остафьев, не зная ваших адресов, побежал, не теряя времени, к помощнику присяжного поверенного Буху, думая, что тот знает, но Бух приехал ко мне, а я сейчас же — к вам, более я никого не знаю. Предупредите скорее сами! Вы, верно, знаете все адреса. Но только надо сейчас же, чтобы никто не пришел в типографию на собрание утром. Осталось всего три часа до семи.

— Но у нас никогда не бывает редакционных собраний в типографии, — ответил я.

— Может быть сегодня экстренное, о котором вас не успели предупредить.

— Ни в каком случае не собрались бы мы в типографии, в которую избегаем даже ходить. Плеханов и Тихомиров даже не знают ее адреса. Бывает там по временам только Клеменц, а обыкновенно за рукописями являются ко мне сами из типографии.

— Так надо предупредить Клеменца! — воскликнул он. Может быть, он хотел быть там в семь часов утра?

— Клеменц-то? — с изумлением спросил я. — Да он никогда не встает раньше двенадцати часов дня! В одиннадцать утра он еще в постели, потому что ложится не раньше трех часов ночи.

— Ну, как хотите! — сказал Луцкий. — Теперь я исполнил поручение, а вам лучше знать.

— А на какой улице арестована типография?

— Чиновник не сказал.

И, простившись с нами, Луцкий тотчас же ушел домой.

— Что-то странное! — сказал я Коршу.

— Да, ответил он. — Вы пойдете сейчас же предупреждать Клеменца?

— Это была бы величайшая неосторожность, — ответил я. — Пришлось бы будить швейцара и показать ему, что у Клеменца происходит что-то необычное, тревожное. А главное, незачем теперь итти. Я знаю, что Клеменц никогда не уйдет с квартиры раньше полудня. Если я приду к нему даже в десять часов утра, и тогда мне придется расталкивать его в постели.

— Как жаль типографии! — сказал Корш.

— Да, это большое горе.

Он ушел к себе в спальню, а я, не будучи в состоянии заснуть, валялся бессонный до утра, постоянно поглядывая при свете зажигаемой спички, скоро ли наступит утро, и мало-по-малу исчиркал всю коробку.

Наконец, наступило и желаемое утро, — тусклое, серое, петербургское зимнее утро. Уже в семь часов я был на ногах и сидел совсем готовый, чтобы выйти в половине девятого, так как до Клеменца, жившего на Троицкой улице было полчаса ходу, а извозчика я не хотел брать, чтоб лучше следить за своим тылом в такой опасный момент. Я вышел из Пантелеймоновской улицы на пустынную набережную Фонтанки и пошел по ней, не заметив сзади никакой свиты. Вот я и у дома земского деятеля Александрова, у которого жил Клеменц. Знака безопасности около своей квартиры Клеменц не выставлял, так как в квартире, где хозяином был человек с положением и не рискующий быть арестованным, о засаде после обыска, казалось, не могло быть и речи.

Я вошел в подъезд, швейцара там не было. Я поднялся во второй этаж к двери Александрова и, как всегда, прислушался. Все было тихо. Я нажал ручку двери и увидел, что она поддалась. Дверь не была заперта, как случалось

иногда и прежде, потому что здесь были ранние приемные часы по делам в кабинете одного присяжного поверенного, занимавшего вторую половину большой квартиры Александрова.

Я тихо пошел далее и, заглянув в соседнюю комнату, неожиданно увидел в ней на стульях несколько офицерских пальто, сабель и синих жандармских фуражек. В то же мгновение из ближайшей двери вышел неожиданно лакей Александрова, мало симпатичный человек, и, увидев меня, вместо того, чтобы снять мое пальто, быстро повернул назад и побежал в комнату, занимаемую Клеменцом.

«Клеменц арестован!» — сообразил я. — Здесь засада».

Повернув в одно мгновение назад, я решил было сначала выдернуть ключ из замка и запереть в ней всю компанию. Но, обратив внимание, что вторая половинка двери закреплялась не внутренними задвижками, а на крюк, который легко было снять и затем вышибить двери, несмотря на то, что они замкнуты на замок, я не сделал этого, чтоб не терять даром времени. Тихо притворив дверь, я в несколько прыжков спустился с лестницы и был на улице. Если бы она была людная, в ней легко было бы затеряться, но во всей улице было пусто. К счастью, дом был второй от угла, и за углом был недлинный переулок, соединяющий Троицкую улицу с широким Владимирским проспектом. Повернув скорым шагом за угол, чтоб не обратить внимания каких-либо невидимых мне наблюдателей, я быстро побежал по переулку, где не было ни одной души.

Едва я перебежал на его дальнейшую половину, как сзади меня из-за угла Троицкой улицы показалась толпа полуодетых жандармских солдат и офицеров с громкими криками:

— Лови! Держи!

Но в переулке некому было меня держать. А когда я выбежал на Владимирский проспект, там только-что прошла конка, и я получил полную возможность, не обра-

щая ничьего внимания, погнаться за ней, сколько хватало ног, и вскочить на ходу. Почти в ту же минуту моя погоня высыпала из переулка и остановилась в недоумении, где меня искать, так как в обе стороны шло много народу. Я видел, стоя на задней площадке вагона, как жандармы расспрашивали случайных прохожих, ловя то одного, то другого. Но из них видевшие, как я бежал, отошли уже далеко от угла, остальные, очевидно, ничего не могли или не хотели им сказать.

Так я и уехал благополучно, но, для большей осторожности, вскоре вновь сошел с конки и в ближайшем переулке велел извозчику везти меня в направлении, казавшемся мне наиболее безопасным.

«Итак, Клеменц арестован сегодня ночью! Что же это значит?» — спрашивал я себя.

Отпустив извозчика, я побежал к Михайлову сообщить ему обо всем и с полным изумлением увидел у него самую хозяйку нашей тайной типографии, Крылову, высокую, сухую, очень несимпатичную по внешности, но осторожную и трудолюбивую женщину лет сорока.

— Как вы успели спастись? — спросил я ее.

— От чего? — с изумлением ответила она.

— От ареста?

— От какого?

— Да разве типография ваша не арестована сегодня ночью?

— Ничего подобного! Я только сейчас оттуда вышла и хочу итти к Клеменцу за рукописью.

— Не ходите! Клеменц арестован!

И я рассказал им все, что произошло со мною, а также и о предупреждении меня Луцким.

— Здесь что-то неладно! — сказал Михайлов, повторив, сам не зная того, слова Корша по этому же самому поводу.

— Да! — ответил я.

Почти в то же время прибежал один из наших товарищей по обществу, Попов.

— Сегодня ранним утром у Луцкого был обыск! — сказал он. — Ничего не нашли и оставили в покое.

— Значит, его обыскали сейчас же после возвращения от меня ночью! — воскликнул я. — А меня они не тронули!

С каждой минутой дело становилось все загадочней для нас.

— Наверно, и еще были обыски ночью! — заметил Михайлов. — Надо нам сидеть всем смирно дома, пока не выяснится дело.

Он взглянул на свои часы. Было около двенадцати дня.

— Подождите меня и никуда не ходите с час, — сказал он. — У меня как раз назначено свидание с Клеточниковым.

И он, быстро одевшись, вышел. Через полчаса к нам прибежала Перовская.

— Бух и Остафьев арестованы сегодня ночью! — сказала она, запыхавшись и раскрасневшись от быстрого движения.

— Значит, взяты все наши предупредители! — воскликнул я. — А из предупрежденных Клеменц! Да! здесь дело нечисто!

Затем возвратился и Михайлов.

— Вот так история! — сказал он. — Клеточников уже получил из Третьего отделения известие об аресте Клеменца, а вместе с тем узнал и все обстоятельства дела. Помните, как к вам приезжал рабочий Рейнштейн из Москвы!

— Как же не помнить! — ответил я. — Мы еще не захотели с ним видеться.

— И хорошо сделали! Он, оказывается, московский шпион, который вошел в кружки тамошних народников-пропагандистов и разными успешными услугами сделал себя чрезвычайно популярным среди них. Он доставлял им

«Землю и Волю», устраивал склады оружия, и все, что он ни начинал, оканчивалось полным успехом. Клеточников говорит, что недавно он предложил московскому жандармскому управлению выследить в Петербурге за тысячу рублей всю редакцию «Земли и Воли», а не то и самую типографию. Начальник тамошних шпионов, желая отличиться в Петербурге, обещал ему эти деньги и написал о проекте Рейнштейна прямо шефу жандармов, старательно обойдя тайную канцелярию, в которой состоит секретарем Клеточников, чтоб там не перехватили дела себе. Рейнштейн же, добыв корреспонденцию от одного из московских революционеров и несколько рекомендаций, поехал в Петербург и стал добиваться свидания с кем-либо из наших редакторов. Но они, — и он указал присутствовавшим товарищам на меня, — выдали ему за редактора Остафьева, который и виделся с ним где-то. А у ворот уже стояли особые сыщики, выследившие потом Остафьева до его квартиры. Так, по плану Рейнштейна и была проделана вся комедия ночного предупреждения. Подосланный к Остафьеву полицейский чиновник нарочно сделал тревогу в час ночи, когда движение по улицам прекращается и становится легко следить за редкими прохожими. Кроме того, пешие и переодетые извозчиками жандармы и полицейские стояли на всех углах. Рейнштейн думал, что Остафьев тотчас же побежит предупреждать других редакторов, а те поедут смотреть дом, где скрывается типография на подкупленных шпионами извозчиках, и таким образом все будет прослежено, узнано и арестовано в одну ночь.

Мы некоторое время молчали, чувствуя, что борьба теперь разгорается не на жизнь, а на смерть.

— Надо, чтоб тысяча рублей этого негодяя обошлась ему дорого! — воскликнул взволнованный Попов. — Я сам поеду в Москву отомстить ему!

— Да, нельзя так оставить дела! — согласился Михай-

лов. — Но слушайте далее. Шеф жандармов уверен, что в лице Клеменца и Буха арестована вся редакция «Земли и Воли», а в причастность к ней Остафьева он не верит. Особенно интересует весь политический сыск, по словам Клеточникова, узнать, кого предупреждал Луцкий? Если б ты, — обратился он ко мне, — тоже забарахтался после его предупреждения и побежал из дому ночью, то и тебя бы не было теперь на свете. У твоего дома и на ближайших углах до утра стояли сыщики и разошлись только к восьми часам, когда на улицах началось обычное движение, а из дома твоего уже ушло несколько человек, и нельзя было разобрать, кто был предупрежден Луцким.

— А разве нашего швейцара не спрашивали?

— Спрашивали, но он сказал, что, должно быть, Луцкий шел в меблированные комнаты в верхнем этаже. Туда уже отправлены шпионы под видом жильцов. Ты не ходи пока к Коршу. . . . . .

— Я буду жить теперь у Анненского, — сказал я, — он меня давно звал к себе.

— Третье отделение, — продолжал Михайлов, — очень обижено, что его обошли и захватили без его участия такую крупную рыбу как Клеменц, розыскиваемую безуспешно четыре года. Начальник тайной канцелярии Гусев ругается, а Клеточников в страшном отчаянии. «Теперь, — говорил он мне, — я никогда не могу быть уверенным, что того или другого из вас не арестуют по каким-нибудь посторонним для меня указаниям. Цель моего пребывания в этой отвратительной среде потерялась». Я, — прибавил Михайлов, — насилу уговорил его остаться еще на время секретарем Гусева в виду важности дел, которые предстоят нам в будущем, но он усиленно предупреждает всех вас быть осторожными, так как аресты, происходящие по распоряжению градоначальника, или по болтовне кого-либо из заключенных, обыкновенно идут к исполнению

помимо составляемых им конспектов. Он о них ничего не может знать заранее, как было и в сегодняшнем случае.

Мы все начали печально расходиться. Крылова побежала сообщить в типографию о случившемся. Михайлов и Попов — предупреждать остальных друзей, а я направился к известному тогдашнему писателю и общественному деятелю — Анненскому, всегда встречавшему меня с необыкновенным радушием.

Я вошел в его гостиную и увидел в ней и во всей квартире уже хорошо знакомую мне картину полного разгрома после только-что произведенного обыска. Шкафы и комоды сдвинуты на середины комнат, ящики из столов вынуты, все содержимое валяется в смеси в разных местах на полу. Сам Анненский, жена его и маленькая девочка ходят между всем своим добром, как на развалинах после землетрясения.

— И вас предупреждали сегодня ночью об аресте типографии? — спросил я, сразу догадавшись в чем дело.

— Да! — отвечал Анненский. — А вы откуда знаете?

Я рассказал ему истинную подкладку дела.

— Теперь, — сказал мне Анненский, — вам самое удобное время пожить немного у меня. Квартира наша очищена для вас самим Третьим отделением: второй раз жандармы не нагрянут с обыском ранее, как через месяц или два.

— Да я и пришел к вам именно для этого!

— Вот и отлично! А теперь давайте общими силами устанавливать мебель на прежние места!

Мы живо принялись за дело, и жилище Анненских приняло первоначальный вид...

К вечеру явился к нам и Михайлов.

— Тебе скоро придется, — сказал он мне, — писать новую прокламацию от имени «Исполнительного комитета Земли и Воли».

— О чем?

— О Рейнштейне. Попов вместе с Немцем (так назывался один молодой студент немецкого происхождения) уже уехали в Москву представить ему счет на тысячу рублей.

И действительно, через десять дней мне пришлось в моей новой квартире писать летучий листок, извещавший русское общество о гибели агента тайной полиции Рейнштейна, пораженного неизвестными людьми кинжалом в сердце в одной из московских гостиниц.

Мне не было его жалко. Мое сердце было до того ожесточено повсюду происходящими казнями моих друзей, что я уже не мог в то время видеть человека ни в палаче, ни в предателе, ни в тех, кто пользуется их услугами, и только повторял в своем уме при каждом случае их преждевременной смерти последние строки известного стихотворения Добролюбова:

Ликуй же, смерть, в стране унылой,
Все в ней отжившее рази,
И знамя жизни над могилой
На грудах трупов водрузи!

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

В АЛЕКСЕЕВСКОМ РАВЕЛИНЕ

Посвящается Ксане

Из речи, произнесенной на торжественном публичном заседании общества бывших политкаторжан и ссыльно-поселенцев 12 марта 1927 года в Академическом театре оперы и балете в Ленинграде.

Наступила полночь между страстной пятницей и страстной субботой на 26 марта 1882 года, и куранты на колокольне Петропавловской крепости заиграли свой обычный гимн.

Как и всегда, я в своей одиночной камере Трубецкого бастиона повторил вместо него сложенный одним моим товарищем под эту же музыку гимн:

Славься, свобода и честный наш труд,
Пусть нас за правду в темницу запрут,
Пусть нас пытают и ночью и днем, —
Мы песню свободе и в тюрьмах споем!

Потом я снял свою куртку, лег на койку и заснул. Это было через несколько дней после того, как нас, двадцать «народовольцев», осудили за заговор против царя, отчасти на смертную казнь, отчасти на вечное заточение, и мы, сидя в полной изоляции, еще не знали, что с нами сделают, но чувствовали, что теперь нам будут мстить жестоко.

Вдруг я проснулся от страшного грохота тяжелых железных запоров моей камеры. Дверь настежь раскрылась, и в нее с топотом ворвалась толпа жандармов со смотрителем сзади. Они окружили мою койку, прикованную к полу посредине комнаты, и смотритель отрывочно приказал:

— Встаньте и разденьтесь!

Меня тщательно обыскали, гладя руками по голому телу, и приказали одеться во вновь принесенное платье. Едва я исполнил это, как унтер-офицеры, ставшие несколько поодаль, разом бросились ко мне.

Подхватив под руки, они быстро повели меня по длинному коридору, которого я еще не знал. Это не был путь к выходу из крепости, а спускался по нескольким ступенькам как будто под землю.

«В подвал,—подумал я. — Наверно хотят пытать». И я приготовился ко всему.

Вдруг отворилась маленькая боковая дверка в коридоре. Мои спутники вытолкнули меня за нее и захлопнули за собой дверь, оставшись по другую сторону. Я очутился один, ночью, под открытым небом, в какой-то узкой загородке. Была вьюга, и порывистый ветер, крутясь в этом маленьком дворике, осыпал мои волосы снегом.

Не успел я еще притти в себя от изумленья, как вдруг из-за угла выскочила в темноте какая-то другая толпа жандармов. Двое из них схватили меня под руки и, почти подняв на воздух, поволокли по каким-то узким застенкам между зданиями крепости.

Одни толпой бежали передо мной, другие вместе с офицером бежали сзади. Мои ноги волочились, едва касаясь земли. Ворота, преграждавшие нам путь в нескольких местах, как бы по волшебству отворялись перед самым нашим приближением и затем снова захлопывались сзади. Вьюга шумела и обсыпала снегом мою голую грудь, потому что куртка расстегнулась, а на рубашке под нею не было пуговиц. Вот перед нами отворились последние ворота, и меня потащили по узенькому мостику через канал, за которым мелькнуло в темноте невысокое каменное здание. Мы прошли через двери, то же как бы самопроизвольно отворившиеся перед нами, и вошли в узкий длинный коридор, тускло освещенный двумя маленькими лампочками в начале и в конце. Справа одна за другой мелькали в полумраке двери. Жандармский офицер, бежавший впереди, открыл одну из них. Меня втолкнули туда и все отступили в разные стороны.

Посреди комнаты стоял небольшой деревянный столик и рядом деревянная кровать с подушкой и байковым одеялом, на котором лежало новое тюремное одеяние.

— Разденьтесь, — сказал мне жандармский офицер.

Я снял, что было на мне, и один из жандармов тотчас же унес все это в коридор. Меня снова тщательно обыскали, огладили руками все тело от ног до головы, перешевелили мокрые от снега волосы. Они даже заглянули с лампой мне в рот, но все-таки не открыли там спрятанных между верхней десной и щекой пяти рублей, сложенных в узкую пластинку, которые я пронес через все прежние тюрьмы и обыски, на случай побега и даже вывез потом в Шлиссельбургскую крепость, где они скрывались у меня то под подушкой, то за щекой еще несколько лет, пока не пришли в полную негодность.

Потом офицер сказал мне, еще голому:

— Мне приказано говорить всем заключенным здесь на «ты», и я это исполню. Здесь такое место, о котором никто не должен знать кроме государя, коменданта, да меня. За всякий шум и перестукиванье будет строгое наказание. За попытку говорить через щели в дверь тоже.

Он повернулся и ушел, замок защелкнулся за дверью. Я сразу понял, почему прежние сторожа меня вытолкнули из Трубецкого бастиона одного во дворик, а сами остались за дверью. Они не должны были знать, кто и куда уведет меня оттуда.

Я прозяб на пути, и в комнате было холодно. Поспешивши надеть все, что было на постели, я с головой спрятался под одеяло. Я слышал, как через каждые полчаса пробегали с топотом за моей дверью те же жандармы, и щелкали замки соседних камер и понял, что это волокли, так же как и меня, остальных осужденных со мной народовольцев.

Едва дрожь от холода стала прекращаться, как я восполь-

зовался минуткой, когда часовой прошел мимо моей двери, и, подойдя с правой стороны, спросил сквозь стену нашим обычным способом: стуком первого сустава пальца по штукатурке.

— Кто вы?

— Тригони, — послышался тихий ответ.

— А я Морозов. Это, вероятно, Алексеевский равелин?

— Да, — ответил он.

Выждав несколько минут, когда часовой прошел снова мимо моей двери, я постучал в другую стену.

— Кто вы?

— Фроленко, — раздался оттуда стук другого моего товарища по процессу.

Больше я не спрашивал в этот вечер, но на следующий день узнал, что за Тригони сидел Клеточников, потом Ланганс, потом Исаев, а далее никто не отвечал.

На следующий день была страстная суббота. Утром нам дали по два стакана чаю в накладку и с французской булкой, на обед суп, жареного рябчика и пирожное, на ужин суп и чай с новой булкой.

— Неужели нас здесь будут так кормить? — простучал мне Тригони. — Я не мог доесть всего. — Что же дадут нам завтра, на Пасху?

Но вот прошла ночь и наступило утро «светлого Христова праздника», и вместо чаю с булкой нам принесли железную кружку с кипятком и кусок черного хлеба. На обед дали вместо супа еще тарелку кипятку, в котором плавало несколько капустных листиков и немного разваренной гречневой крупы вместо каши. В нее при нас же положили полчайной ложки масла, а вечером на ужин принесли еще тарелку кипятку с несколькими капустными листиками.

— Как жалко, — простучал мне на ночь Тригони, — что я не доел вчера всего принесенного. Я страшно голоден. Неужели и далее так будет? На этой пище жить нельзя.

Но так было и в следующий день и во все следующие за ним. Разница была лишь в том, что вместо гречневой разваренной крупы по воскресениям нам давали пшенную, а по средам и пятницам, вместо полчайной ложки скоромного, клали в нее столько же постного масла.

Через несколько дней у нас обнаружились обычные результаты голода. Каждую ночь снились самые вкусные явства и пиры, и с каждой неделей худело тело. Месяца через два мои ноги стали как у петуха, толще всего в коленях. Ребра все показались наружу. У других товарищей было тоже.

— Но ведь это пытка! — простучал мне раз Тригони. — Очевидно, они хотят, что бы мы запросили у них помилованья и выдали все, что можем.

И это было несомненно так. Все время нас не выпускали из камер, никаких прогулок не полагалось. Мы были заперты как в гробницах. На вопрос одного из нас о книгах смотритель ответил, что здесь не полагается никакого чтения.

Еще через несколько недель у меня на ногах показались мелкие красные пятна, и левая ступня стала пухнуть. У других товарищей тоже появились опухоли на ногах. Это была цынга. Когда опухоль дойдет до живота, мы должны умереть. С самого первого дня своего привода, или, скорее, переноса сюда, я не разговаривал со смотрителем, сопровождавшим жандармов при каждом их входе к нам, лично отпиравшим и запиравшим наши двери, унося ключ с собою. Я не хотел слушать от него «ты».

Но когда нога достаточно распухла, и опухоль, поднимаясь с каждой новой неделей, дошла до колена, я сделал вид, что рассматриваю ее, когда он отворил дверь. Он подошел и взглянул.

— Пухнет? — спросил он.

— Да, — ответил я.

Он отвернулся и ушел.

Я уже знал, что у других был доктор и прописал им какое-то лекарство и потому не удивился, когдо на следующее утро ко мне вошел тот же смотритель в сопровождении старого генерал-лейтенанта, который, как я потом узнал, был доктором Вильямсом, единственным врачом, пользовавшимся доверием для входа к нам. А смотритель, о котором я здесь говорю, был знаменитый по своей старательности и жестокости жандармский капитан из кантонистов Соколов, который на заявление одного из нас о недостаточности пищи, ответил:

— Я тут не при чем. Когда мне велели дать вам рябчиков и пирожное, я их вам дал, а если прикажут ничего не давать, то я и это исполню.

Доктор осмотрел мою ногу и ушел, ничего не сказав. На следующее утро к обеду мне дали ложку сладкой жидкости желтого цвета с железистым вкусом. Это было противуцинготное средство. Но оно не помогло, нога продолжала краснеть и пухнуть и, наконец, стала однородно толстой от таза до ступни, совсем как бревно, представляя страшный контраст с другой ногой, еще тонкой, как у петуха. Доктор вновь пришел, и мне стали приносить кружку молока, показавшегося мне самым вкусным напитком, который я когда-нибудь брал в рот.

Опухоль стала падать и месяца через два почти прошла. Явился вновь тот же доктор, осмотрел и на следующий день мне не дали ни молока ни раствора железа.

Через неделю на моих ногах вновь появились пятна, опять началась опухоль ног и стала подниматься все выше и выше. Я снова как бы ненарочно показал ее смотрителю, но он спокойно пробормотал:

— Еще рано.

И лишь месяца через три, когда нога опять стала походить на бревно, он вызвал доктора и мне снова прописали железо и молоко.

Я опять стал медленно поправляться, и, месяца через три или четыре (я давно потерял счет месяцев) снова все отняли. То же было и с другими. Началась у всех цынга в третий раз, уже на третий год заточения, а у меня к ней прибавилось еще и постоянное кровохарканье.

Клеточников решил пожертвовать собою за нас и отказался от пищи, чтобы умереть. Мы отговаривали его, но он остался тверд.

В первый день Соколов сказал ему:

— Твое дело есть или не есть.

Однако, через неделю голоданья, вероятно получив инструкцию свыше, он явился к нему, как всегда в сопровождении жандармов и накормил его насильно теми же щами и кашей как и нас. Результат получился тот, какого и можно было ожидать: через три дня Клеточников умер от воспаления кишек.

Но он достиг своей цели. Через три дня к нам явился новый генерал-лейтенант и обошел всех. Я принял его за доктора и разговаривал, как с таковым, но он оказался товарищем министра внутренних дел Оржевским. На следующий день нашу более чем двухлетнюю пытку прекратили и стали давать, кроме лекарств, мясной суп и кашу с достаточным количеством масла и чай с двумя кусками сахара, и тех кто мог ходить, хотя и волоча ноги, стали выводить, и всегда по ночам до рассвета, на прогулку во внутренний двор здания, а для чтения дали по Библии и «Жития святых». Но было уже поздно. Мои товарищи один за другим умирали, и через месяц из числа двенадцати, перешедших со мной в равелин, осталось в живых только четверо: я, Тригони и Фроленко, да еще безнадежно помешанный Арончик.

* * *

Что я чувствовал в то время? То, что должен чувствовать и каждый в такие моменты, когда гибнут один за другим в заточении и в страшных долгих мучениях его товарищи, делившие с ним и радость и горе. Если б в это время освободила меня революционная волна, то я несомненно повторил бы всю карьеру Сен-Жюста, но умер бы не на гильотине, как он, а еще до своей казни от разрыва сердца. Я с нетерпением ждал этой волны, а так как она не приходила, то я без конца ходил из угла в угол своей одиночной камеры с железной решеткой и с матовыми стеклами, сквозь которые не было ничего видно из внешнего мира, то разрешая мысленно мировые научные вопросы, то пылая жаждой мести, и над всем господствовала только одна мысль: выжить во что бы то ни стало, на зло своим врагам! И несмотря на страшную боль в ногах и ежеминутные обмороки от слабости, даже в самые критические моменты болезни, я каждый день понескольку раз вставал с постели, пытался ходить сколько мог по камере и три раза в день акуратно занимался гимнастикой.

Цингу я инстинктивно лечил хождением, хотя целыми месяцами казалось, что ступаю не по полу, а по остриям торчащих из него гвоздей, и через несколько десятков шагов у меня темнело в глазах так, что я должен был прилечь. А начавшийся туберкулез я лечил тоже своим собственным способом: несмотря на самые нестерпимые спазмы горла, я не давал себе кашлять, чтобы не разрывать язвочек в легких, а если уж было невтерпеж, то кашлял в подушку, чтоб не дать воздуху резко вырываться.

Так и прошли эти почти три года в ежедневной борьбе за жизнь, и если в бодрствующем состоянии они казались невообразимо мучительными, то во сне мне почему-то почти каждую ночь слышалась такая чудная музыка, какой я никогда не слыхал и даже вообразить не мог наяву; когда

я просыпался, мне вспоминались лишь одни ее отголоски.

Щеголев в архиве равелина нашел доклады нашего доктора Вильямса царю о состоянии нашего здоровья. В одном из них обо мне было сказано: «Морозову осталось жить несколько дней», а через месяц он писал: «Морозов обманул смерть и медицинскую науку и начал выздоравливать». Оказалось потом, что туберкулез легких у меня совсем зарубцевался, и теперь доктора, осматривая меня, с удивлением находят один огромный рубец в правом легком, от плеча до поясницы и несколько меньших в левом легком, и это вместе с рядом научных идей теперь мое единственное наследство от Алексеевского равелина. Почти через три года нас, оставшихся в живых, перевезли, заковав по рукам и по ногам, в только-что отстроенную для нас Шлиссельбургскую крепость, где стали, наконец, давать и научные книги. А через 25 лет, когда нас освободили оттуда в ноябре 1905 года, я получил возможность разрабатывать то, о чем только мечтал в заточении.

Привыкнув с юности глядеть только на будущее, я редко вспоминаю о своей прошлой жизни в темницах. Лишь изредка на меня веет минувшим, и вновь звучит в моих ушах стихотворение, которое я чуть не каждый день повторял в Алексеевском равелине, — стихотворение, написанное одним из первых моих товарищей в доме предварительного заключения, Павлом Орловым, убитым с целью грабежа в Сибирской тайге одним уголовным, с которым он бежал из тюрьмы:

Из тайных жизни родников
Исходит вечное движенье.
Оно сильнее всех оков,
Оно разрушит ослепленье.
Людских сердец, людских умов,
Как в грозный час землетрясенья
Основы храмов и дворцов.

Оно пробудит мысль народа,
Как буря спящий океан,
И слово грозное: свобода! —
Нежданно грянет, как вулкан.

Хоть буря влагою богата,
Но ей вулкана не залить, —
Так жизни вам не подавить
Решеньем дряхлого сената.

Да, пламя вспыхнет и сожжет
Дворцы и храмы и темницы!
Да, буря грянет и сорвет
С вас пышный пурпур багряницы!

Святой огонь любви к свободе
Всегда силен, всегда живуч.
Всегда таится он в народе,
Как под землею скрытый ключ.

Пред ним бессильны все гоненья,
Не устоит ничто пред ним,
Как искра вечного движенья,
Он никогда не угаснм.

И вот, десять лет тому назад грянула эта буря. Она порвала старые оковы, и мы теперь стоим на перевале к новой лучшей жизни.

Б[illegible]
Ин[illegible]
при Д. К. В. Е. И. (б.)

ПРИМЕЧАНИЯ.

[1] Засулич Вера Ивановна — участница революционного движения в России со времен Нечаева. Ее выстрел 24 января 1878 г. в петербургского градоначальника, Трепова, несмотря на то, что был сделан ею по собственной инициативе, явился как бы сигналом начала той террористической борьбы, которая нашла свое завершение в деятельности партии «Народная Воля». Судом присяжных З. была оправдана. При выходе ее из суда жандармы и полиция сделали попытку ее арестовать снова, но толпа, окружившая ее, не допустила этого и З. удалось скрыться. При этом погиб Сидорацкий, сделавший два выстрела в жандармов и ранивший курсистку. Предполагали, что Сидорацкий застрелился.

В дальнейшем З. — участница «Черного Передела», а затем вместе с Плехановым, Дейчем, Аксельродом и Игнатовым член группы «Освобождение Труда». На II съезде З. примыкает к меньшевикам. После революции 1905 г. З. в рядах ликвидаторов. Во время войны она вместе с Потресовым занимает позицию наиболее крайнего оборончества. Умерла после Октябрьской революции.

[2] Кружок «троглодитов» по прозвищу, данному Клеменцем, или «Северная революционно-народническая группа» — это сформировавшееся со второй половины 1876 г. общество «Земля и Воля». Название свое оно получило лишь в 1878 г., когда стало выпускать печатный орган.

О. А. Натансон-Шлейснер Адриан Михайлов, А. И. Баранников, А. Д. Оболешев, А. И. Зунделевич и Лизогуб входили в состав основного кружка.

[3] Малиновская Александра Николаевна и Коленкина Мария Александровна — участницы революционного движения с первой половины 70-х годов. Привлекались к дознанию по процессу 193-х, но безрезультатно. С 1878 г. поселились вместе в Петербурге, и, хотя

они формально не входили в организацию землевольцев, их квартира была конспиративным центром. Арест их в ночь с 11 на 12 октября 1878 г., произошедший по анонимному доносу (в III Отделение донесли, что у них скрывается Кравчинский), сопровождался одним из первых вооруженных сопротивлений. Военно-окружным судом 14 мая 1880 г. они были приговорены к тяжкому наказанию: Коленкина к 10 годам каторжных работ, Малиновская к ссылке на поселение, которая однако не была приведена в исполнение, так как Малиновская заболела душевно. Умерла в начале 90-х годов в казанской окружной психиатрической лечебнице.

Коленкина отбыла наказание и осталась жить в Сибири.

[4] Брешковская Екатерина Константиновна, участница большого похода в народ, по делу 193-х была приговорена к каторге, откуда в 1881 г. неудачно пыталась бежать. С образованием партии социалистов-революционеров примкнула к ней. Во время войны и после Февральской революции была в рядах самых правых эсеров. Своим авторитетом старой революционерки поддерживала Керенского во всех его выступлениях против Советской власти. В настоящее время находится в эмиграции.

[5] С. Ширяев в своей автобиографической записке (Красный архив, 1924, кн. 7) описывает иначе свое знакомство с Халтуриным. Он подробно рассказывает о трех своих встречах с Халтуриным в Петербурге, в начале 1879 г. о Нижнем же не упоминает.

Член исполнительного комитета партии «Народная Воля» Ширяев принимал участие в подготовке всех крупных террористических предприятий. По процессу 16-ти был приговорен к смертной казни, замененной бессрочными каторжными работами. Умер в 1881 г. от чахотки в Алексеевском равелине.

[6] Ковальский Иван Мартынович, стоявший во главе кружка одесских революционеров, был приговорен к смертной казни, приведенной в исполнение 2 августа 1878 г.

[7] Типография землевольцев («Русская вольная типография») была поставлена в Петербурге осенью 1877 г., причем печатала вначале одни листки и брошюры. С осени 1878 г. землевольцам была передана типография газеты «Начало». В этой типографии, получившей теперь название «Спб. вольной типографии», на ряду с листками и брошюрами начал печататься вскоре землевольцами орган «Земля и Воля». С ноября 1878 г. по апрель 1879 г. вышло 5 номеров. Редакцию «Земля и Воля» первоначально составляли Кравчинский, Клеменц, Морозов; после отъезда Кравчинского в нее вступил Плеханов, а через некоторое время — и Тихомиров; в конце февраля

1879 г. Клеменц был арестован, и редакторами остались Морозов, Плеханов, Тихомиров. Приостановленная с наступлением лета 1879 г., «Земля и Воля» с осени уже не возобновлялась, вследствие происшедшего в организации раскола, и вместо нее стали выходить издания обоих обособившихся фракций: «Народная Воля» и «Черный Передел».

[8] Устав общества «Земля и Воля» был составлен Александром Михайловым в апреле — мае 1878 г.

[9] Мирский Лев Филиппович стрелял в шефа жандармов Дрентельна 13 марта 1879 г. Очутившись в результате суда в Петропавловской крепости, он оказался соседом Нечаева. П. Е. Щеголев в своей работе «Нечаев в Алексеевском равелине» («Красный архив» — тт. IV и V) доказывает, что по отношению к Нечаеву, продолжавшему и в каменном мешке борьбу с правительством и через распропагандированных им солдат вступившему в сношения с «Народной Волей», Мирский сыграл роль провокатора.

[10] Деятельность Клеточникова Н. В. была одним из средств «дезорганизации государственных сил», и задаче поставленной еще землевольцами. Арест Клеточникова, 28 января 1880 г., был большим ударом для Народной Воли». На суде он мужественно признал идейный характер своей службы революции. В 1885 г. он умер в Алексеевском равелине.

[11] Рейнштейн Николай был убит в Москве 26 февраля 1879 г. М. Р. Поповым и Николаем Шлиманом. Принимал участие в этой казни еще и третий революционер, но имя его не установлено. «Немец», о котором пишет Н. А. Морозов, — это Шмеман, ведший до этого пропаганду среди петербургских рабочих и проповедывавший фабричный террор.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

стр.

Повесть седьмая. Проблески.

Удивительная девушка и странная встреча 5
Приготовления 15
Неудавшееся освобождение 24
Возвращение 38
Новые планы 47
Ночной кошмар 56
Удар на удар 62
Ольга Любатович 66
На краю гибели 72

Повесть восьмая. «Земля и Воля».

Архив «Земли и Воли» 87
Куда привела улетевшая в высоту калоша 94
Выстрел на улице 100
Он оказался неспособен быть политическим сыщиком, но из него вышел прекрасный секретарь начальника политического сыска 113
Мы попадаем в безвыходное положение 121
Западня 125

Вместо эпилога. В Алексеевском равелине 137

1 руб. — 22183-12138

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР
МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

НИКОЛАЙ МОРОЗОВ

КАК Я СТАЛ РЕВОЛЮЦИОНЕРОМ

ПОВЕСТИ МОЕЙ ЖИЗНИ

ТОМ ПЕРВЫЙ

В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ. У ТАИНСТВЕННОГО ПОРОГА.
ПО ВОЛНАМ УВЛЕЧЕНИЯ.

Стр. 285. Ц. 2 р.

О

ИЗ ЭМИГРАЦИИ В ЗАТОЧЕНИЕ

ПОВЕСТИ МОЕЙ ЖИЗНИ

ТОМ ВТОРОЙ

СВОБОДНЫЕ ГОРЫ. ДНИ ИСПЫТАНИЯ.
ТЮРЬМА И СУД.

Стр. 232. Ц. 1 р. 40 к.

ПРОДАЖА В МАГАЗИНАХ И КИОСКАХ ГОСИЗДАТА